

..... Г.К.Че

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 5898697 6

Ошибка патера Брауна



РЕТРО • ДЕТЕКТИВ

GELEOS

**Москва
2006**

Честертон, Гилберт Кийт.

Ошибка патера Брауна / Гилберт Кийт Честертон
[пер. с англ. А.М. Карнауховой и В.И. Сметанича]. —
М.: Гелеос, 2006. — 288 с. — (Ретро-детектив).

ISBN 5-8189-0741-4 (в пер.)

Оказывается, сутана священника не мешает расследовать самые запутанные, самые страшные и жестокие преступления. Это с бесспорной убедительностью доказал Гилберт Кийт Честертон. Его герой — патер Браун — особенный человек, можно сказать, сыщик от Бога. А значит, он сумеет раскрыть то, что не подвластно уму даже признанных мастеров логики и дедукции.

«...Каждой из трех смертей предшествовала яростная борьба. Труп Гэллопа был найден лишь на второй день. Он висел, огромный и страшный, в маленькой роще среди изломанных ветвей... Уайза, очевидно, сбросили со скалы в море... Тело Стейна тоже нашли не сразу. После длительных поисков еле заметный кровавый след привел сыщиков к бане в древнеримском стиле...»

© Карнаухова А.М. (наследники), 2006
© ЗАО «ЛГ Информэйшн Групп», 2006
© ЗАО «Издательский дом «Гелеос», 2006

Р В Т Р О • Д Е Т Е К Т И В

Г. К. Честертон

• Ошибка патера Брауна •



I

Смерть и воскрешение патера Брауна

Был период, в течение которого патер Браун пользовался громкой известностью, отнюдь его не радовавшей. Газеты кричали о нем; еженедельники полемизировали из-за него; в клубах и гостиных, преимущественно американских, оживленно и неточно рассказывали о его подвигах. Как бы это ни показалось нелепым и невероятным всякому, кто его знал, — его приключения служили даже сюжетом коротких рассказов, печатавшихся в еженедельных журналах.

Странно, что этот блуждающий сноп прожектора нащупал его в самом темном, во всяком случае в самом отдаленном, из тех многочисленных углов земного шара, которые служили ему местом пребывания. Он как раз был послан в качестве миссионера, или приходского священника, в одну из тех местностей северного побережья Южной Америки, где страны-лоскутики то непрочно прилепляются к европейским державам, то начинают усиленно грозить, что превратятся в независимые республики, под защитой исполинской тени президента Монроэ.

Жители были красные и бурые с красными подпалинами, словом — испано-американцы, и главным образом, испано-американо-индейцы; но попадались и значительные, все расширяющиеся прослойки американцев северного типа, а также англичан, немцев и прочих.

Беда, видимо, началась с того момента, когда некий приезжий, из последней категории, совсем недавно высадившийся и очень раздосадованный исчезновением одного из своих дорожных мешков, подошел к первому попавшемуся ему на глаза зданию, каковое оказалось домом миссии, с примыкающей к нему часовней. Вдоль всего дома шла длинная веранда и длинный ряд столбов, обвитых черными виноградными лозами с угловатыми, красными в эту осеннюю пору листьями. По ту сторону столбов восседало, также в ряд, несколько человеческих существ, почти столь же неподвижных, как столбы, и такой же почти окраски, как лозы.

Черны были и их широкополые шляпы и немигающие глаза, а цвет кожи наводил на мысль о темном красном дереве тамошних лесов. Многие из них курили длинные, тонкие сигары; и во всей группе один только дым и шевелился.

Приезжий, по всей вероятности, принял всех сидевших за туземцев, хотя многие из них гордились своим испанским происхождением. Впрочем, приезжий вообще несклонен был проводить тонкие различия — испанцы, краснокожие — не все ли равно! Как скоро он решил, что эти люди — туземцы, он готов был игнорировать их.

Журналист из Канзас-сити, он был худощавым, начинающим лысеть мужчиной, с носом, который Меридит назвал бы авантюристическим; казалось, этот нос нащупывает путь и шевелится как хобот муравьяда. Фамилия его была Снейс; родители, по каким-то неведомым соображениям, нарекли его Саулом; каковое обстоятельство он, по возможности, тактично скрывал. В конце концов он пошел на компромисс и стал называться Павлом, хотя далеко не по тем основаниям, какие руководили апостолом, просвещавшим язычников. Напротив того, поскольку ему приходилось иметь дело с подобными вещами, имя гонителя подошло бы ему больше, ибо на организованную религию он смотрел с тем условным презрением, которое можно позаимствовать скорее у Ингерсолля, чем у Вольтера.

Эта-то черта — в его характере не из первостепенных — заговорила в нем, когда он очутился лицом к лицу со зданием миссии и группой людей на веранде. Беззастенчивое спокойствие и невозмутимое равнодушие последних зажгло в нем безумную жажду действия. И, после того как ему не удалось добиться определенного ответа на свои первые вопросы, он сам взял слово. Стоя на самом солнечном припеке, весь с иголки новый в своей панаме и щеголеватом костюме, с крепко зажатым в руке дорожным мешком, он заговорил, обращаясь к людям, сидевшим в тени. Он начал с громогласного объяснения — на случай, если бы эти проблемы когда-либо тревожили их умы, — объяснения, почему они ленивы и грязны и чертовски невежественны, хуже тех животных, что

не выдерживают борьбы за существование и погибают. По его мнению, всем этим они обязаны разлагающему влиянию священников, которые довели их до такой нищеты и до такого безнадежного состояния угнетения, что они только и могут сидеть в тени, да курить, ничего не делая.

— И какой же вы мягкотелый сброд, — говорил он, — что даете застрашивать себя этим фиглярам только потому, что они ходят в своих митрах и тиарах, в золотых ризах и всякой другой ветоши, да глядят на каждого, будто он пыль у них под ногами! Даете себя одурачивать коронами, да балдахинами, да святыми зонтами, как мальчуганы на пантомиме! Все из-за того только, что напыщенный старикашка — первосвященник какого-то Мумбо-Джумбо держит себя так, словно он царь земли. А вы что же? На что вы похожи, простофили вы несчастные!

Говорю вам: вот почему вы пятитесь назад к варварству, не умеете ни читать, ни писать, ни...

В это время из дому, ничуть не заботясь о сохранении декорума, вышел первосвященник Мумбо-Джумбо, не очень-то смахивавший на царя земли, а скорее похожий на пару подержанного черного платья, которое надели на подушку, чтобы изобразить человека. На нем не было его тиары (если допустить, что он таковую вообще имел); ее заменяла потрепанная широкополая шляпа, мало чем отличавшаяся от шляп испанских индейцев и к тому же съехавшая на затылок.

Он только что собирался заговорить с неподвижными туземцами, как вдруг заметил незнакомца и поспешил спросить:

— О! чем могу служить? Не угодно ли вам зайти?

Мистер Поль Снейс зашел. И с этого момента запас сведений журналиста стал быстро пополняться. Надо думать, инстинкт журналиста одержал в нем верх над его предрассудками — это часто наблюдается у бойких представителей его профессии. Он задал основательное количество вопросов, ответы на которые заинтересовали и удивили его. Он узнал, например, что индейцы умеют читать и писать, по той простой причине, что их этому научили; но что читают и пишут они лишь в тех случаях, когда этого нельзя избежать, так как предпочитают более непосредственные способы сношений. Он узнал, что эти странные люди, восседавшие на веранде так неподвижно, что, казалось, ни один волос у них не шелохнется, умеют трудиться в поте лица на собственных клочках земли; в особенности те из них, которые больше чем наполовину испанцы; и, в довершение всего, с удивлением услышал, что у них у всех есть клочки земли, действительно составляющие их неотъемлемую собственность. За эту последнюю традицию туземцы, видимо, держатся упорно. Но и патер Браун сыграл тут некоторую роль: в этом выразилось его вмешательство — в первый и последний раз — в политику, и то чисто местную.

Недавно эти края посетила одна из тех эпидемий атеистического и почти анархического радикализма, которые время от времени вспыхивают в странах латинской культуры; которые зарождаются в большинстве случаев в виде какого-нибудь тайного общества и заканчиваются почти всегда гражданской войной.

Лидером партии иконокластов был здесь некий Альварец, довольно живописный авантюрист, по национальности португалец, а по слухам — наполовину негр. Он возглавлял целый ряд лож и храмов для посвященных, которые в этих странах даже атеизму придают характер мистицизма.

Лидером консервативной партии было лицо куда более заурядное — весьма состоятельный человек по фамилии Мендоза, собственник нескольких фабрик, человек почтенный, но на амплу героя не очень-то пригодный.

Общее мнение было таково, что дело партии, стоявшей на стороне закона и порядка, было бы окончательно проиграно, если бы она не приняла тактики, которая имела все шансы стать популярной, — не начала отстаивать обеспечение земель туземного населения. А идея эта прежде всего зародилась в маленькой миссии патера Брауна.

Патер Браун еще говорил с журналистом, когда вошел Мендоза, лидер консерваторов. Это был тучный, смуглый человек, с лысым грушевидным черепом и круглым, тоже грушевидным, туловищем. Он курил очень пахучую сигару, но, войдя, отбросил ее несколько театральным жестом и поклонился, весь изогнувшись, хотя подобной гибкости от столь дородного джентльмена совершенно нельзя было ожидать. Он всегда очень серьезно учитывал каждый свой жест, в особенности пред лицом религиозных установлений. Хотя и мирянин, он был больше церковником, чем церковники. Патера Брауна эта его

манера всегда стесняла, особенно в обстановке частной жизни.

— Должно быть, я антиклерикал, — с тонкой улыбкой говаривал патер Браун, — так как нахожу, что клерикализм был бы далеко не так опасен, если бы им не занимались миряне.

— Как? Мистер Мендоза? — оживленно воскликнул журналист. — Мы, кажется, уже встречались? Не были ли вы в прошлом году на Конгрессе Торговли в Мексике?

Тяжелые веки мистера Мендозы дрогнули, — он узнал.

— Припоминаю, — сказал он с ленивой улыбкой.

— Хорошие там дела обдeldывались в один-два часа! — продолжал Снейс, смакуя. — Вам, кажется, тоже Конгресс пошел на пользу.

— Мне повезло, — скромно сказал Мендоза.

— Не говорите! — воскликнул энтузиаст Снейс. — Счастье идет к людям, которые умеют ухватиться за него. А вы ухватились надежно и цепко. Однако... надеюсь, я не мешаю?

— Ничуть, — отозвался другой. — Я частенько позволяю себе навестить патера, чтобы немного потолковать с ним. Только с этой целью.

По-видимому, то обстоятельство, что патер Браун близко знаком с преуспевающим и даже известным дельцом, окончательно примирило с ним практичного мистера Снейса. Миссия, на его взгляд, обрела более респектабельный вид, а всякие напоминания о религии — каких трудно было избежать в виду близости часовни — он решил игнорировать.

Пришел в полный восторг от программы священника, по крайней мере в части светской и социальной. И заявил, что в любой момент готов сыграть роль живого телеграфа, чтобы оповестить о ней весь мир. С этой минуты начиная, патер Браун стал находить, что симпатизирующий журналист гораздо докучливее журналиста-антагониста.

Мистер Поль Снейс ретиво принялся рекламировать патера Брауна. Он писал длинные и напыщенные хвалы ему в свою газету. Делал снимки с несчастного священника за самыми обыденными его занятиями, снимки, которые, в гигантски увеличенном виде, появлялись в гигантских воскресных приложениях газет Соединенных Штатов. Самые невинные речи патера Брауна он превращал в афоризмы и постоянно дарил мир каким-нибудь «Посланием от досточтимого джентльмена из Южной Америки».

Будь американцы народ менее выносливый и усердно восприимчивый, патер Браун надоел бы им до смерти. Но при данных условиях он получал множество самых выгодных предложений сделать турне по Штатам, читая лекции. А когда он отказывался, гонорар удваивали, почтительно выражая вместе с тем удивление.

Задумано было, при участии мистера Снейса, множество рассказов о нем, вроде рассказов о Шерлоке Холмсе. Когда к нему обратились за советом и за помощью для их завершения, патер Браун — герой этих рассказов — взмолился, чтобы их приостановили. Но мистер Снейс использовал и этот момент,

чтобы начать полемику, — не следует ли патеру Брауну временно исчезнуть, по примеру героя доктора Ватсона, хотя бы тем же способом — свалившись со скалы. Патер Браун и на это ответил письменно, что он согласен, но с тем, чтобы все рассказы были приостановлены и прошло достаточно времени до их возобновления. Втянутый в эту переписку он писал все лаконичнее. Наконец, написавши последнюю записку, облегченно вздохнул.

Нечего и говорить, что шумиха, которую подняли на Севере, докатилась и до маленького поста на Юге, где патер Браун рассчитывал жить одиноко, как в изгнании. Англичане и американцы, уже довольно многочисленные в тех местах, возгордились, что в их среде есть столь широко прославившаяся личность. Американские туристы — из тех, что в Англии, едва высадившись, громко требуют, чтобы им показали Вестминстерское Аббатство, — высаживаясь на этом побережье, громко требовали, чтобы им показали патера Брауна. Недалеко было до того, чтобы составлялись специальные поезда его имени и чтобы людей приводили толпами осматривать его, как какой-нибудь общественный монумент.

Особенно надоедали ему мелочные торговцы и лавочники, деятельные и тщеславные, постоянно упрашивавшие его испробовать их товар и дать свой отзыв. Даже если отзыв дан был нелестный, они старались продлить корреспонденцию, чтобы накопить побольше его автографов. Благодаря его добродушию, они добивались от него всего, чего хотели. И как раз несколько слов, наспех набросанных им в ответ на

обращение некоего франкфуртского виноторговца по фамилии Экштейн, вызвали страшный кризис в его жизни.

Экштейн был суетливый человек с взъерошенными волосами и пенсне на носу, изнывавший от желания, чтобы патер Браун не только испробовал его знаменитого лечебного портвейна, но и сообщил ему на самой расписке в получении, где и когда именно он будет его пить. Патера Брауна не особенно удивила эта просьба: он давно перестал удивляться взбалмошности рекламы. Поэтому он нацарапал несколько слов и перешел к другим делам, на его взгляд более разумным.

Его прервали снова; на этот раз принесена была записка не более не менее, как от его политического противника Альвареца; последний звал его на совещание, на котором, надо надеяться, «удастся прийти к соглашению по одному из кардинальных вопросов»; совещание состоится в тот же день вечером, в кафе по ту сторону городской стены. На это также патер Браун ответил запиской, в которой выражал свое согласие, и записку вручил ожидавшему ее посланному — человеку цветущего вида и несколько военной выправки. Затем, имея впереди еще часа два, он снова уселся и попытался заняться своими делами. По истечении этого срока налил себе стакан замечательного вина мистера Экштейна, выпил его до дна, взглянув с оттенком юмора на часы, и вышел в ночь.

Маленький испанский городок был весь залит лунным светом, и живописные ворота, к которым

подходил патер Браун, с их аркой, чуть ли не рококо, и причудливой бахромой из пальм, напоминали оперную декорацию. Один большой иззубренный лист, черный при свете луны, приходился против просвета ворот и напоминал почему-то пасть черного крокодила. Фантазия патера Брауна не задержалась бы на этом образе, если бы кое что не привлекло его внимания, от природы настороженного: в воздухе было мертвенно тихо, ни малейшего ветра; а между тем поникший пальмовый лист шевелился...

Патер Браун оглянулся кругом и убедился в том, что он один. Последние домики остались позади, да и те были наглухо заперты, с задвинутыми ставнями. Он шел между двух стен, сложенных из больших, бесформенных, хотя и обтесанных камней; кое-где между камнями пробивалось странное колючее местное растение. Стены тянулись параллельно до самых ворот. Не было видно огней кафе, расположенного по ту сторону городской стены; должно быть, до него было еще слишком далеко. Под воротами те же плиты, бледно освещенные луной, да выбившиеся кое-где кустики колючей груши.

У патера Брауна была способность чутять беду; он чувствовал себя физически подавленным, но о том, чтобы повернуть обратно, и не думал. Любопытство говорило в нем сильнее, чем даже мужество, которым он безусловно отличался. Всю жизнь он алкал правды, даже в пустяках. Порой старался обуздать себя в этом отношении, но совсем отделаться от своего алкания никогда не мог.

Он миновал, не останавливаясь, ворота. И тут, с верхушки дерева, на него прыгнул, как обезьяна, человек, и ударил ножом. В ту же минуту другой человек быстро подвигавшийся ползком вдоль стены, размахнувшись, ударил его дубинкой по голове. Патер Браун обернулся, зашатался и повалился наземь. А на его круглом лице отразилось кроткое и огромное недоумение.

В это самое время в том же городке проживал другой молодой американец, полная противоположность мистеру Полю Снейсу. Звали его Джон Адам Рас и был он инженером-электротехником, которого Мендоза пригласил, чтобы заново оборудовать освещение старинного городка.

Рас представлял собой фигуру значительно меньше, чем американский журналист, дающую пищу для сатиры и международной болтовни. Хотя фактически в Америке на миллион человек типа Раса приходится лишь один тип Снейса. Исключительного в нем было лишь то, что он исключительно хорошо работал в своей области; во всем же остальном он ничем не выделялся. Начал он свою карьеру в качестве помощника аптекаря в небольшом селении на западе и выбился лишь благодаря труду и заслугам. Свой родной городок он до сих пор считал центром мира. В ослепительном блеске новейших, необычайных открытий, сам постоянно экспериментируя и творя чудеса со звуком и светом — подобно богу, создавая новые звезды и солнечные системы, — он ни одной минуты не сомневался в

том, что там, «дома», все лучше, чем где бы то ни было в мире: его мать и семейная библия и чопорная мораль тихого городка. Он чтит свою мать так глубоко и трогательно, как умеет чтить только ветреный француз. Он считал религию Библии единственно правильной и смутно ощущал, что в современном мире ему не достает ее.

Трудно было ожидать в нем сочувствия к религиозным крайностям католических стран; и действительно, он сходился с мистером Снейсом в том, что недолюбливал митры и хоругви, хотя и проявлял это не так заносчиво. Не нравилось ему ханжество Мендозы, но не прельщал и масонский мистицизм атеиста Альвареца. Пожалуй, вся эта полутропическая жизнь, расцвеченная пурпуром и золотом индейцев и испанцев, была для него чересчур красочна. Во всяком случае, он не бахвалился, когда утверждал, что здесь ничто не выдерживает сравнения с его родным городом. Он этим хотел сказать, что есть где-то что-то простое и трогательное, что он чтит превыше всего на свете.

Таково было душевное настроение Джона Адамса Раса, очутившегося в глухом южно-американском городке. Но с некоторых пор у него появилось странное чувство, которое все росло, хотя совершенно не вязалось с его предрассудками, и он не умел обосновать его. Дело было в следующем: во всех своих скитаниях он не встречал ничего, что, хотя бы отдаленно, напоминало ему о старой поленнице дров, о провинциальных правилах приличия, о Библии на коленях матери так, как напоминали поче-

му-то круглое лицо и неуклюжий черный зонтик патера Брауна!

Он ловил себя на том, что незаметно следил за этой обыденной и даже комической черной фигуркой, хлопотливо расхаживавшей взад и вперед; следил с настойчивостью почти нездоровой, словно видел перед собой живую загадку или противоречие. В самых недрах того, что он ненавидел, он нашел нечто, нравившееся ему против его воли. Похоже было на то, будто его долго и сильно терзали дьяволята низшего ранга, а когда дело дошло до самого Сатаны, оказалось, что он наизауряднейшая личность.

В эту лунную ночь Джоню Адамсу Расу случилось выглянуть в окно, и он увидел проходившего мимо Сатану, демона Непостижимой Безупречности; в своей широкополой черной шляпе и в длинном плаще он шел, волоча ноги, по направлению к воротам, и Рас провожал его глазами с интересом, который ему самому казался непонятным. Он с удивлением спрашивал себя: куда идет патер Браун? что он затевает? И долго не отходил от окна, глядя на освещенную луной улицу уже после того, как маленькая черная фигурка скрылась из виду. И тут он увидел еще кое-что, также заинтересовавшее его. Двое других мужчин, которых он узнал, прошли по его окну, как по освещенному экрану. Лунный свет окружил призрачным голубым венчиком копну волос, торчком стоявшую на голове маленького Экштейна, виноторговца, и вычертил фигуру повыше и потемнее, с орлиным профилем, в старомодной, с высокой тульей

шляпе, которая придавала всему облику еще более причудливый вид — точь-в-точь силуэт из пантомимы теней.

Рас мысленно одернул себя за то, что позволил своей фантазии разыгаться: он узнал черные испанские бачки и резкие черты лица доктора Кальдерона, почтенного врачевателя города, которого он как-то видел при исполнении профессиональных обязанностей у Мендозы. Однако, что-то в манере, с которой эти люди перешептывались и вглядывались вперед, показалось ему странным. Повинуясь внезапному побуждению, он перешагнул через низкий подоконник и, не захватив с собой даже шляпы, направился вслед за ними.

Он видел, как они исчезли под воротами; секунду спустя в той стороне раздался страшный, неестественно пронзительный крик, особенно испугавший Раса потому, что слов он понять не мог, — они были выкрикнуты на незнакомом ему языке.

Еще мгновение — и послышался топот ног, снова крики, неясный гул, из которого выделялись возгласы гнева и боли; потом — в собравшейся толпе произошло движение, она отхлынула назад, к воротам, и под аркой ворот эхо отозвалось на другой голос, который крикнул, уже на понятном языке:

— Патер Браун умер!

Рас не сумел бы сказать, что произошло у него в мозгу, но он бегом бросился к воротам, в которых и столкнулся со своим земляком, журналистом Снейсом, смертельно бледным и нервно щелкавшим пальцами.

— Да, это правда, — сказал Снейс тоном, который в его устах был близок к почтительному. — Он отходит. Доктор осмотрел его, надежды нет. Один из этих проклятых даго хватил его дубинкой, когда он вышел из ворот. Из-за чего? бог весть. Это будет большая потеря для всей округи.

Рас ничего не ответил — быть может, не в состоянии был ответить — и побежал дальше к месту происшествия. Маленькая черная фигурка лежала там, где упала, на пустынной каменистой дорожке, коегде испещренной звездочками зеленых колючек; толпа стояла поодаль. Ее удерживала на расстоянии главным образом жестикуляция некоей исполинской фигуры, маячившей на переднем плане. Многие даже покачивались из стороны в сторону, вторя движениям ее руки, словно это была рука волшебника.

Альварец, диктатор и демагог, был высок ростом, одет всегда в самые яркие цвета; и на этот раз на нем был зеленый мундир с вышивкой, изображавшей нечто вроде серебряных змей, расплзавшихся по нему; на шее висел на яркой ленте орден. Курчавые волосы его уже поседели, и, по контрасту с ними, лицо (цвет которого друзья называли оливковым, а враги — метисовым) казалось буквально золотым — маской, отлитой из золота. Но в данный момент это лицо с крупными чертами, лицо, в котором была и сила, и юмор, сурово хмурилось. Он объяснял, что ждал патера Брауна в кафе, как вдруг услышал шорох, стук падения и, выбежав, увидел распростертое на плитках тело.

— Знаю, что вы думаете, — закончил он, гордо оглядываясь кругом, — и раз сами вы боитесь меня и не решаетесь сказать, то я скажу за вас. Я атеист. Я не могу призывать в свидетели Бога, если моего слова недостаточно. Но клянусь последней крупницей чести, какая остается в душе каждого солдата и каждого человека, что я к этому делу не причастен. И если бы мне попались в руки те, что это сделали, я с радостью вздернул бы их на дерево.

— Мы, конечно, очень рады вашему заявлению, — официально и торжественно ответил старый Мендоза, стоявший возле тела своего павшего союзника. — Постигший нас удар чересчур тяжел, чтобы мы сейчас могли сказать больше. Я полагаю, будет пристойнее, если мы унесем тело моего друга и прервем этот неожиданный митинг. Насколько я понимаю, — обратился он к доктору, — сомнения, к сожалению, не может быть?

— Ни малейшего, — подтвердил доктор Кальдерон.

Джон Рас вернулся к себе опечаленный и с ощущением какой-то странной пустоты в душе. «Можно ли ощущать потерю человека, с которым даже не был знаком?» — думал он.

Он узнал, что похороны состоятся на другой день: все были того мнения, что нужно как можно скорее покончить с этим делом из опасения мятежа; данных же для опасений набиралось с каждым часом все больше. Тех краснокожих, которых Снейс видел сидевшими рядышком на веранде, можно было принять за ряд старинных ацтекских идолов, высеченных из

красного дерева. Но если бы он видел, что случилось с ними, когда они услышали о смерти патера Брауна! Они, безусловно, восстали бы и линчевали бы лидера республиканцев, если бы их не удерживало уважение к гробу их собственного религиозного вождя. Настоящие же убийцы, линчевание которых никого не удивило бы, исчезли, будто в воздухе растаяли. Никто не знал, что они за люди, видел ли их когда-либо покойный. Застывшее у него на лице выражение недоумения, возможно, тем и объяснялось, что он узнал их. Альварец продолжал горячо утверждать, что он к этому делу не причастен, и на похоронах шел за гробом в своем роскошном, зеленом с серебром, мундире, как бы бравируя своим уважением к покойному.

Позади миссии каменная лесенка в несколько ступенек вела на отвесную зеленую насыпь, обсаженную кактусовой изгородью. Там-то, на насыпи, и поставили гроб — у подножия большого покосившегося распятия, которое возвышалось над дорогой. Внизу, на дороге, было целое море людей, причитавших и перебиравших четки: осиротевшее население, лишившееся отца. Альварец держал себя сдержанно и почтительно, хотя все то, что происходило, было прямым вызовом ему. «И кончилось бы, — думал Рас, — все благополучно, если бы другие оставили демагога в покое».

Рас с горечью говорил себе, что Мендоза всегда смахивал на старого дурака, а на этот раз, окончательно и несомненно, вел себя как старый дурак. Согласно обычаю, распространенному в примитивных об-

щества, гроб не закрыли, и даже лицо оставили открытым. Поскольку это отвечало традиции, вреда от этого быть не могло. Но кто-то из официальных лиц вспомнил французский обычай — говорить надгробное слово у могилы. И Мендоза заговорил; слово было очень длинное, и, чем дальше, тем больше падало настроение Джона Раса, а с ним и его симпатии к религиозному ритуалу. Длинный список самых обветшалых атрибутов святости разворачивался медленно, скучно, как у застольного оратора, который никак не может кончить. Это уже само по себе было плохо. Но тупость Мендозы дошла до того, что он стал делать выпады и даже бросать оскорбления по адресу его политических противников. Довольно было трех минут, чтобы вызвать сцену, и сцену самую необычайную.

— Зададим же себе вопрос, — высокопарно говорил Мендоза, оглядываясь кругом, — зададим же себе вопрос: можно ли ожидать таких добродетелей от тех, кто, в безумии своем, отрекся от веры своих отцов? Да, среди нас есть атеисты, атеисты-вожди, даже подчас атеисты-правители, и их-то гнусная философия и приносит плоды в виде преступлений, подобных этому. Если мы спросим: кто умертвил этого святого человека, то, несомненно, окажется, что...

Африканский дикарь притаился в глазах Альвареса, авантюриста со смешанной кровью. Рас вдруг понял, что человек этот — все-таки варвар и не умеет владеть собой до конца; что весь его просвещенный трансцендентализм не далеко ушел от идолопоклонничества. Как бы то ни было, но Мендозе не уда-

лось закончить фразы, так как Альварец выскочил вперед и завопил, пользуясь превосходством своих голосовых органов.

— Кто убил его? Его убил ваш бог! Его собственный бог! Сами вы говорите, что он умерщвляет всех своих верных и глупых слуг, как умертвил этого вот, — резким движением он указал не на гроб, а на распятие.

Несколько овладев собой, он продолжал все еще сердитым, но более убедительным тоном:

— Я не верю, но вы ведь верите. Разве не лучше обходиться совсем без бога, чем иметь бога, который расправляется с вами таким образом? Я, по крайней мере, нисколько не боюсь утверждать, что в этом слепом и безмозглом мире нет силы, которая могла бы услышать ваши молитвы или вернуть вашего друга. Как бы вы ни молили небеса воскресить его, он не воскреснет! Как бы я ни бросал вызов небесам, чтобы они воскресили его, он не воскреснет! Так вот, проверим: бог, которого нет, бросаю тебе вызов — разбуди этого уснувшего навеки человека!

Все оцепенело кругом — демагог произвел желанную сенсацию.

— Следовало ожидать, — хрипло выкрикнул Мендоза, — раз мы допустили такого, как вы...

Новый голос прервал его; высокий и пронзительный голос с американским акцентом.

— Стойте! Стойте! — кричал журналист Снейс. — Смотрите! Клянусь, я видел, он шевельнулся!

Он взбежал по ступенькам и бросился к гробу, а толпа внизу всколыхнулась, охваченная безумным

волнением. Снейс тотчас оглянулся — лицо его выражало величайшее изумление, — он поманил пальцем доктора Кальдерона, и тот поспешил к нему. Когда они оба отодвинулись от гроба, всем стало ясно, что положение головы изменилось. Толпа испустила вопль, который оборвался на середине, будто повис в воздухе, так как в это время патер Браун вздохнул и приподнялся на локти в гробу, затуманенными глазами глядя на толпу.

Той суматохи, которая поднялась в ближайшие часы, Джон Адам Рас, знакомый только с чудесами науки, и в последующие годы никогда не мог толком описать. Он словно перенесся из мира, ограниченного временем и пространством, в мир невозможного. В полчаса весь город и вся округа превратились в нечто, уже тысячелетия невиданное: средневековый народ, потрясенный чудом; греческий город, в который к людям сошел бог. Тысячи людей лежали распостертые на дороге, сотни немедленно дали обет; и даже посторонние, как наши два американца, например, ни о чем другом не могли ни думать, ни говорить. Альварец, как и следовало ожидать, был потрясен и сидел, опустив голову на руки.

И среди этой бури один маленький человек тщетно старался заставить выслушать себя. Голос у него был слабый, а шум кругом оглушительный. Он делал какие-то неуверенные движения, выражающие скорее всего раздражение. Подойдя к самому краю парапета, возвышавшегося над толпой, он махал руками, как пингвин короткими крыльями. Толпа не

только шумела, она славословила. И тут патера Брауна в первый раз в жизни охватило крайнее негодование против его детей.

— О, глупый вы народ! Глупый, глупый народ! — крикнул он высоким, дрожащим голосом. — Глупый, глупый народ!

Затем он вдруг, как бы спохватившись, шагнул к лестнице и стал торопливо спускаться по ней почти обычной своей походкой.

— Куда вы, отец? — спросил Мендоза, еще почтительнее обычного.

— На телеграф, — быстро ответил патер Браун. — Что такое? Нет, конечно, никакого чуда не было! Почему вы вообразили, что тут чудо? Чудеса не такая дешевая штука.

И он проковылял вниз по лестнице, а на пути его люди простирались ниц, прося его благословения.

— Благословляю, благословляю, — торопливо говорил патер Браун. — Благослови вас Боже, пусть он поможет вам поумнеть.

И он поспешил на телеграф, откуда послал телеграмму секретарю епископа.

«Тут ходят сумасшедшие толки о чуде. Надеюсь, его священство не поверит. Ничего подобного».

Покончив с этим, он, под влиянием реакции, зашатался, и Джон Рас поддержал его под руку.

— Позвольте мне проводить вас домой, — сказал он. — Вы заслуживаете большего, чем то, что эти люди воздают вам.

Джон Рас и патер Браун сидели вдвоем в комнате последнего; стол все еще был завален бумагами, с

которыми он возился перед своим уходом из дому; бутылка вина и пустой стакан стояли там, где он их оставил.

— Наконец-то, — сказал патер Браун, почти сурово, — я могу подумать.

— На вашем месте я пока очень усиленно не думал бы, — отозвался американец, — вам, наверное, нужно отдохнуть, да и о чем вы намерены думать?

— Мне достаточно часто приходилось расследовать убийства, — пояснил патер Браун. — Теперь надо расследовать собственное убийство.

— На вашем месте я выпил бы сначала немного вина, — заметил Рас.

Патер Браун поднялся и налил себе стакан вина, взял его в руки, рассеянно скользнул по нему взглядом и поставил его на прежнее место. А сам снова уселся и сказал:

— Знаете, что я чувствовал, когда умирал? Вы, пожалуй, не поверите, но это было чувство удивления...

— Вы, должно быть, удивились, что вас хватили по голове, — заметил Рас.

Патер Браун нагнулся к нему и сказал вполголоса:

— Я удивился тому, что меня не хватили по голове.

Рас с минуту смотрел на него так, будто находил, что удар по голове оставил как нельзя более заметные следы, но спросил только:

— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что дубинка, которой замахнулся тот человек, задержалась у самой моей головы, не

коснувшись ее. И в ту же минуту другой малый только сделал вид, будто ударил меня ножом, но даже не оцарапал. Это было как на сцене. Да, именно так. Но самое необыкновенное произошло потом...

Некоторое время он задумчиво смотрел на бумаги, разбросанные на столе, затем продолжал:

— Хотя ни нож, ни дубинка не коснулись меня, я вдруг почувствовал, что у меня подкашиваются ноги, что жизнь уходит из меня. Я понял: что-то меня убило, но только не нож и не дубинка. Знаете что? Как мне кажется сейчас?

Он указал на вино, стоявшее на столе. Рас взял стакан с вином, посмотрел на свет, понюхал.

— Думаю, что вы правы, — сказал он. — Я был аптекарским помощником и проходил химию. Не берусь утверждать, не сделав анализа, но тут что-то неладно. На востоке знают снадобья, вызывающие сон, который легко принять за смерть.

— Вот именно, — подтвердил патер Браун совершенно спокойно. — По той или иной причине чудо это было подстроено. Похороны инсценированы, причем и время было строго рассчитано. Я готов думать, что тут замешана та мания рекламировать меня, которой одержим Снейс. Но вряд ли он зашел бы так далеко только ради этого. Одно дело — фотографировать меня и выдавать за ложного Шерлока Холмса, а...

Он не договорил, и выражение лица его внезапно изменилось. Моргающие веки опустились на глаза, и он привстал, словно ему не хватило воздуха.

— Что с вами? — спросил его Рас.

— Странно, невероятно... я был на волосок...

— Разумеется, — сказал Рас. — Вы были на волосок от смерти.

— Нет, — возразил патер Браун, — не от смерти, а от позора!

Тот уставился на него.

И патер Браун почти выкрикнул следующие слова:

— И если бы это был только мой позор! Нет, опозорено было бы все то, что я отстаивал, — самая вера моя! Вот, на что они покушались! Что бы это было! Самый ужасный из всех скандалов, направленных против нас, после того как заткнули глотку лгуну Титусу Отсу!

— Да скажите же, наконец, о чем речь? — воскликнул его собеседник.

— Да, пожалуй, лучше сразу рассказать вам, — согласился патер Браун, усевшись, и продолжал уже спокойнее. — Меня осенило, как только я упомянул о Снейсе и о Шерлоке Холмсе. Припоминаю теперь, что я написал по поводу той нелепой выдумки. Написалось будто само собой, а между тем, думается, они искусно довели меня до того, что я написал именно эти слова. Кажется так: «я готов умереть и ожить снова, подобно Шерлоку Холмсу, если это наилучший выход». Как только я вспомнил об этом, я отдал себе отчет и в том, что меня заставляли писать всевозможные вещи, бьющие все в одну точку. Я написал, например, как пишут соучастнику, что я выпью такое-то вино в такое-то время. Теперь понимаете?

Рас вскочил на ноги все еще озадаченный.

— Да, как будто начинаю понимать.

— Они прокричали бы о чуде, а потом опровергли бы чудо. И, что хуже всего, уверили бы, что я сам был в заговоре! Чудо оказалось бы сфабрикованным нами сообща!

Помолчав, он добавил совсем кротким голосом:

— Они, наверное, сделали бы с меня кучу хороших снимков.

Рас мрачно взглянул на стол и спросил:

— Сколько негодяев было в этом замешано? — Патер Браун покачал головой.

— И думать не хочется, сколько их, — сказал он. — Но я надеюсь, что некоторые, по крайней мере, были простым орудием в руках других. Альварец, вероятно, считает, что на войне все средства хороши, — он странный человек. Мендоза, боюсь, старый лицемер. Я никогда не доверял ему, и он не мог мне простить моего поведения в одном коммерческом деле. Однако со всем этим можно пока подождать. Но как я счастлив, что немедленно телеграфировал епископу...

Джон Рас, казалось, сильно задумался.

— Вы рассказали мне много такого, чего я не знал, — сказал он наконец, — а мне хочется поведать вам одну вещь, которую вы не знаете. Я прекрасно понимаю, на что рассчитывали эти субъекты.

Они не сомневались, что каждый смертный, проснувшись в гробу и узнав, что он попал в святые и стал ходячим чудом, поддастся бы общему увлечению и принял бы корону славы, которая свалилась ему прямо с неба. И я считаю, что психологически расчет их был совершенно верен, — таков человек. Я

видывал разных людей, в разных местах, но, скажу вам откровенно, не думаю, чтобы на тысячу нашелся хотя бы один, который очнулся бы таким образом, с настолько ясной головой и, даже не совсем придя в себя, проявил бы столько здравого смысла, столько простодушия, столько смирения, что... — он сам удивился своему волнению; всегда ровный голос его дрожал.

Патер Браун рассеянно покосился на бутылку, стоявшую на столе.

— А не распить ли нам бутылочку настоящего винца? — сказал он.

II Небесная стрела

Сотни детективных рассказов начинаются, боюсь, с убийства американского миллионера — события, почему-то рассматриваемого как народное бедствие. К счастью для меня, этот рассказ должен начаться с убийства миллионера, собственно говоря, даже с убийства трех миллионеров, что кое-кому покажется, пожалуй, *embarras de richesses*. Но именно это совпадение, или, иными словами, длительный характер преступления, и выдвинул данное дело из ряда обычных криминалов и превратил его в трудноразрешимую загадку.

Общее мнение было таково, что все три миллионера стали жертвой вендетты или заклятья, связанного с обладанием очень ценной, как с точки зрения исторической, так и по существу, реликвии — сосуда, инкрустированного драгоценными камнями и известного под названием «Коптской Чаши». Происхождение его было не выяснено, но назначение связывалось с религиозными обрядами, и кое-кто объяснял гибель его обладателей фанатизмом неких восточных христиан, возмущенных тем, что чаша попала в столь материалистические руки.

Во всяком случае, в мире журналистов и болтунов таинственный убийца вызывал интерес, близкий к сенсации, независимо от того, был ли он фанатиком или нет. Безымянное существо наделили даже именем или прозвищем. Впрочем, наш рассказ касается лишь третьей жертвы, так как только в этом случае патер Браун, герой наших набросков, имел возможность проявить себя.

Когда патер Браун, сойдя с трансатлантического пакебога, впервые ступил на американскую землю, он, подобно многим другим англичанам, обнаружил, что представляет собой гораздо большую величину, чем предполагал до сих пор. На его родине его коротенькая фигурка, скромные манеры, близорукие глаза, его порыжелая сутана прошли бы незамеченными в любой толпе, а если и выделились бы, то разве своей незначительностью.

Но Америка гениальна по части прославления и рекламирования. И участие патера Брауна в расследовании двух-трех замысловатых уголовных случаев, а также его продолжительное общение с Фламбо, экс-преступником и детективом, создало ему в Америке громкую репутацию, тогда как в Англии о нем только-только поговаривали.

На его круглой физиономии выразилось удивление и смущение, когда на набережной его остановила группа журналистов, — которую можно было принять за шайку разбойников! — и стала засыпать его вопросами о вещах, в которых он менее всего мог считать себя компетентным, как-то: о разных дета-

лях дамских туалетов и о статистике преступности страны, на которую он только что впервые взглянул.

Пожалуй, по контрасту с этой солидарной, действовавшей в боевом порядке группой, бросалась в глаза одинокая фигура, стоявшая в стороне и своей чернотой выделявшаяся в этот яркий солнечный день, в этом ярком месте, — фигура высокого человека с желтоватым лицом, в больших очках. Дождавшись, когда журналисты кончили, он остановил патера Брауна словами:

— Простите, не ищите ли вы капитана Уэна?

Приходится извинить патера Брауна, сам он искренно готов был просить извинения — не надо забывать, что он только что высадился и до сих пор никогда не видел круглых очков в черной оправе: мода не дошла еще до Англии. Первая его мысль была, что перед ним какое-то пучеглазое морское чудовище; вспомнился и водолазный шлем. Одет был незнакомец прекрасно, и патер Браун по наивности изумился: странная для денди фантазия так уродовать себя! Приставил бы еще для пущего изящества деревянную ногу!

Заданный вопрос также немало смутил его. В длинном списке лиц, которых он рассчитывал повидать во время своего пребывания в Америке, действительно значился американский авиатор по фамилии Уэн, друг его друзей во Франции. Но он никак не ожидал, что так скоро услышит о нем.

— Простите, — с некоторым сомнением ответил он. — Вы сами капитан Уэн? Или... или знаете его?

— Могу утверждать с уверенностью, что я не капитан Уэн, — ответил человек в очках, с самым дере-

вянным выражением лица, — по крайней мере, у меня не оставалось на этот счет никаких сомнений, когда я видел его только что там, в автомобиле, ожидавшем вас. На другой вопрос ответить не так просто. Думается мне, что я знаю Уэна и его дядюшку, и старика Мертона тоже. Но старый Мертон не знает меня. И думает, что выигрывает от этого он, а я думаю, что — я. Поняли?

Патер Браун не совсем понял. Он, щурясь, переводил глаза с искрящейся поверхности моря на шпили и башни города, потом на мужчину в очках. Впечатление непроницаемости, которое производил этот человек, создавалось не одними очками; в лице его было что-то азиатское, даже китайское, а речь вся переслаивалась иронией. Среди простодушного и общительного населения Америки попадаются такие загадочно-замкнутые типы.

— Зовут меня Дрэг, — говорил он. — Норман Дрэг, и я американский гражданин, чем все объясняется. Во всяком случае, я полагаю, что ваш друг Уэн предпочтет сам объяснить вам остальное.

И патер Браун, достаточно ошеломленный, был увлечен к стоявшему на некотором расстоянии автомобилю, из которого ему махал рукой молодой человек с растрепанными желтыми волосами и измученным угрюмым лицом. Молодой человек назвал себя Питером Уэном. Патер Браун и опомниться не успел, как его погрузили в автомобиль, который помчался во весь опор по направлению к городу. Он не успел еще привыкнуть к стремительности американцев и чувствовал себя не менее озадаченным, чем если бы колесница, запряженная драконами, увлек-

ла его в волшебное царство. И в таких-то смущающих условиях он в первый раз узнал из длинных монологов Уэна и коротких сентенций Дрэга о двух преступлениях, которые были связаны с Коптской Чашей.

Оказалось, что у Уэна был дядюшка по имени Крэк, а у того — компаньон по имени Мертон, третий по счету богатый делец, к которому перешла Чаша. Первый из них, Титус П. Трент, медный король, получил в свое время ряд угрожающих писем, подписанных кем-то, назвавшимся Даниэлем Роком. Имя было, вероятно, вымышленное, но вскоре оно стало так же известно, как имена Робина Гуда и Джека-Потрошителя, вместе взятые, — ибо очень скоро выяснилось, что автор писем отнюдь не думает ограничиться угрозами: однажды поутру старика Трента нашли мертвым в его собственном, поросшем кувшинками пруду; никаких следов преступника не было найдено.

Они вышли из автомобиля и, после долгих манипуляций, вроде тех, какие проделываются с сейфами, в стене с большими предосторожностями был открыт узкий проход. К величайшему изумлению патера Брауна, человек, именуемый Норманом Дрэгом, не выразил никакого желания войти, а распротился с ними, зловеще ухмыляясь.

— Я не пойду, — сказал он. — Столько удовольствий разом могло бы оказаться старику Мертону не по силам. Он так любит видеть меня, что умер бы от радости.

И он зашагал прочь, а патера Брауна, не переставшего удивляться, пропустили за стальную дверь,

которая моментально захлопнулась за ним. Они попали в тщательно содержащийся сад, который пестрел веселыми яркими цветами. Зато там не было ни деревьев, ни высоких кустарников. Посреди сада стоял дом, прекрасной архитектуры, но такой узкий и высокий, что напоминал скорее башню. Палящее солнце зажигало одно-другое стекло на крыше, но в нижней части дома окон, по-видимому, совсем не было. Внутри портала ослеплял мрамор всех оттенков, металлы, изразцы, но лестница отсутствовала. Только в углублении между крепкими стенами ходил лифт, доступ к которому охранялся двумя сильными субъектами, напоминавшими полисменов в штатском.

— Охрана самая тщательная, знаю, — сказал Уэн. — Вам покажется, может быть, смешным, отец Браун, что Мертону приходится жить в такой крепости. Даже в саду нет ни одного дерева, за которым мог бы укрыться человек. Но вы не знаете, какую здесь — в этой стране — пришлось нам разрешать трудную задачу. И, вероятно, не знаете, кто такой Брандер Мертон. Человек он с виду тихий, на улице иной и внимания на него не обратит; сейчас, положим, и случая не представляется: он выезжает очень редко, и то в наглухо закрытом автомобиле. Но, если бы что-нибудь случилось с Брандером Мертоном, это было бы равносильно землетрясению, которое захватило бы всю страну, от Аляски до Каннибаловых островов. Думаю, что такой власти над народами не имел ни один король, ни один император! А ведь предложите вам кто-нибудь посетить царя или английского короля, вы, вероятно, пошли бы, из любопытства? Возможно, что до царей и миллионеров вам

никакого дела нет, но такая сила сама по себе всегда вызывает интерес. И я надеюсь, что вам не придется поступаться своими принципами, навещая Мертона?

— Ничуть, — спокойно ответил патер Браун. — Мой долг навещать заключенных и всех несчастных пленников.

Последовало молчание; по худому лицу нахмурившегося молодого человека прошло странное, хитроватое выражение. Затем он отрезал:

— Ну, вы должны помнить, что на него ополчились не простые преступники и не какая-нибудь Черная Рука. Даниэль Рок — сам черт. Вспомните, что он расправился с Трентом в его собственном саду и с Хардером вблизи его виллы, а сам ускользнул.

Верхний этаж дома, защищенный громадной толщины стенами, состоял из двух комнат: наружной, в которую они вошли, и внутренней, которая являлась святилищем миллионера. Они вошли в первую как раз в тот момент, когда из второй выходило два посетителя. Одного из них Питер Уэн представил как своего дядюшку. Маленький, но очень крепкий и подвижный человек, с бритой головой и коричневым лицом, настолько коричневым, что казалось невероятным, чтобы оно когда-нибудь было белым, — старый Крэк, иначе Хикори Крэк, приобрел известность во время последних войн с краснокожими.

Спутник его представлял полную противоположность ему: высокий джентльмен, с елейным выражением лица, с черными, как лакированными, волосами и с моноклем на широкой черной ленте. Бернард

Блэк, поверенный старого Мертона, только что участвовал в деловом совещании компаньонов.

Все четверо сошлись посреди первой комнаты и, прежде чем разойтись по разным направлениям, остановились, чтобы обменяться, как того требовали приличия, несколькими фразами. Но, кроме них, в комнате был еще некто: в самой глубине, у двери в следующую, внутреннюю, комнату, виднелась массивная неподвижная фигура, слабо освещенная светом, падавшим из внутреннего окна: человек с лицом негра и широчайшими плечами. Человек из тех, кого юмор американца, не щадящего и самого себя, прозвал Злым Человеком.

Этот человек не двинулся, не шевельнулся, не поздоровался ни с кем. Но Питер Уэн, увидев его в наружной комнате, нервно осведомился, остался ли кто-нибудь с Мертоном?

— Не поднимай шуму, Питер, — рассмеялся его дядюшка. — С ним Уилтон, секретарь, и, я полагаю, этого достаточно. Уилтон, кажется, никогда и не спит, охраняя Мертона. Он стоит двадцати телохранителей, а проворен и невозмутим, как индеец.

— Ну, вам лучше знать, — согласился, также смеясь, племянник. — Помню, каким вы учили меня индейским штукам, когда я был мальчуганом и любил читать о краснокожих. Но в моих рассказах краснокожим всегда солоно приходилось.

— В жизни было не так! — сурово сказал старый пограничник.

— Неужели? — переспросил ласковый мистер Блэк. — Я думаю, им трудно было противостоять нашему огнестрельному оружию.

— Я видел, как индеец, бывший под обстрелом сотни ружей и не имевший при себе ничего, кроме скальпировочного ножа, убил белого, стоявшего рядом со мной на вышке форта, — продолжал Крэк.

— Что вы говорите! Как он это сделал?

— Бросил нож, — пояснил Крэк. — Бросил с молниеносной быстротой, раньше чем раздался первый выстрел. Не знаю, где он этому научился.

— Надеюсь, вы не научились у них? — засмеялся племянник.

— Думается мне, — задумчиво проговорил патер Браун, — что из этого случая можно вывести некоторую мораль...

Во время их разговора мистер Уилтон, секретарь, вышел из внутренней комнаты и остановился, выжидая. Бледный, светловолосый человек, с четырехугольным подбородком и внимательными глазами, в выражении которых было что-то собачье. Казалось вполне правдоподобным, что этот человек спит одним глазом, как сторожевой пес.

Он сказал лишь: «Мистер Мертон примет вас минут через десять», но это перебило разговор. Старый Крэк заявил, что ему надо уходить, и племянник вышел вместе с ним и с его спутником-юристом, на несколько минут оставив патера Брауна наедине с секретарем; великан-негр в конце комнаты как живое существо в счет не шел — так неподвижно он сидел, прислонившись широкой спиной к стене и повернувшись лицом к двери во внутреннюю комнату.

— Охраняем мы его тщательно, как видите, — сказал секретарь, — вы, должно быть, слышали об этом

Даниэле Роке и согласитесь с нами, что небезопасно часто и надолго оставлять шефа одного.

— Но сейчас-то ведь он один, не так ли? — спросил патер Браун.

Секретарь поднял на него серьезные серые глаза.

— Четверть часа всего, четверть часа из двадцати четырех часов. Долше ему не удастся пробыть в одиночестве. А эти четверть часа он отстаивает по совершенно исключительной причине.

— А именно? — заинтересовался посетитель. Уилтон, секретарь, продолжал смотреть тем же внимательным взглядом, но губы его сурово сжались.

— Коптская Чаша, — сказал он. — Вы, может быть, забыли о Коптской Чаше, но он никогда о ней не забывает, как и ни о чем вообще. Он никому из нас не доверяет ее. Она заперта где-то там в комнате, и только он один может достать ее, и достает лишь тогда, когда никого нет в комнате. Вот и приходится рисковать этими четвертью часами, пока он любит ее. Для него нет, пожалуй, ничего дороже. Впрочем, риска в сущности нет. Я сам превратил это место в мышеловку, в которую и черт не мог бы забраться, во всяком случае, не мог бы выбраться из нее. Если бы этому проклятому Даниэлю Року вздумалось нанести нам визит, ему пришлось бы остаться к обеду и немного подолее, богом клянусь. Четверть часа я сижу здесь, как на раскаленных углях, но если бы только я услышал выстрел или шум борьбы, я тотчас нажал бы эту кнопку, и электрический ток кольцом охватил бы стену сада, так что каждый, кто вздумал бы перебраться через нее, был бы обречен на смерть. Да выстрела и быть не может: единственный

вход — вот этот, а единственное окно, у которого он сидит, находится вверху башни — башни с отвесными стенами, скользкими, как смазанный маслом шест. И все-таки мы все здесь вооружены, конечно. Если бы Даниэль Рок явился сюда, он не выбрался бы отсюда живым.

Патер Браун в раздумье уставился на ковер и вдруг сказал, полушутя:

— Надеюсь, вы не обидитесь на меня, но мне только что пришло в голову... это касается вас...

— В самом деле? — спросил Уилтон. — Что же именно?

— Мне кажется, — ответил патер Браун, — вы человек одной идеи, и эта идея — не столько о том, как бы оградить Мертона, сколько о том, как поймать Даниэля Рока.

Уилтон едва заметно вздрогнул, продолжая также внимательно смотреть на своего собеседника, затем сурово сжатый рот мало-помалу расплылся в странную улыбку.

— Как вы могли?.. Что навело вас на эту мысль? — спросил он.

— Вы сказали, что, услышав выстрел, вы тотчас же, при помощи электрического тока, отрезали бы путь врагу, — объяснил священник. — Должно же вам было прийти в голову, что выстрел мог убить вашего патрона раньше, чем ток убил бы его врага? Я не хочу сказать, что вы не стали бы защищать мистера Мертон, если бы имели возможность, но это у вас как-то на втором плане. Охрана здесь установлена самая тщательная и установлена, по-видимому, вами. Но

во всем видно скорее желание поймать убийцу, чем спасти человека.

— Патер Браун, — сказал секретарь своим обычным спокойным тоном, — вы очень наблюдательны, но в вас есть и нечто большее. Вы человек, от которого не хочется ничего скрывать. Надо мною уже подшучивают, называют маньяком за то, что я гонюсь за этим преступником; возможно, что я и маньяк. Но открою вам то, чего никто не знает: мое полное имя — Джон Уилтон Хардер.

Патер Браун кивнул, будто это ему все разъяснило, но тот продолжал:

— Человек, который называет себя Роком, убил моего отца и моего дядю, разорил мою мать. Когда Мертону понадобился секретарь, я предложил свои услуги, так как считал, что — где Чаша, там, рано или поздно, будет и преступник. Но я не знал — кто он; надо было выждать. Мертону же я намерен был служить верой и правдой.

— Понимаю, — мягко сказал патер Браун, — а кстати — не пора ли нам пройти к нему?

— О, да! — отозвался Уилтон, будто внезапно возвращаясь к действительности, — войдите, разумеется.

Патер Браун направился во внутреннюю комнату.

Никто не приветствовал его. Мертвое молчание. Спустя мгновение он снова появился в дверях.

И в тот же миг сидевший подле дверей молчаливый телохранитель шевельнулся. Будто ожил какой-то крупный предмет из обстановки. Казалось, что-то

в самой позе патера Брауна вызвало эту перемену — лицо священника оставалось в тени.

— Я думаю, вам следует нажать ту кнопку, — сказал он, вздохнув.

Уилтон точно вдруг очнулся от своего сурового раздумья и бросился вперед.

— Выстрела не было, — срывающимся голосом крикнул он.

— Смотря по тому, что называть выстрелом, — возразил патер Браун.

Уилтон пробежал мимо него, и они оба проникли во внутреннюю комнату. Сравнительно небольшую, просто, но изящно обставленную. Прямо против дверей было открытое окно, выходившее в сторону сада и долины. У самого окна стояли кресло и небольшой столик. Казалось, в те короткие минуты, когда он разрешал себе роскошь одиночества, Мертон хотел как можно больше насладиться светом и воздухом.

На маленьком столике у окна стояла Коптская Чаша — хозяин, видимо, хотел полюбоваться ею в самом выгодном освещении. Да, на нее стоило посмотреть. Но Брандер Мертон — не смотрел на нее: он откинулся головой на спинку кресла, белая грива волос свесилась вниз, а седоватая борода отогнулась кверху, и в горле его торчала длинная, темная стрела с красными перьями на конце.

— Бесшумный выстрел, — вполголоса сказал патер Браун, — я только что думал о новых изобретениях в этой области. Но это изобретение совсем старое, хотя тоже бесшумное.

И прибавил, помолчав:

— Боюсь, он умер! Что вы намерены делать?

Сильно побледневший секретарь овладел собой и, видимо, принял решение:

— Да, я нажму кнопку, — сказал он, — и если это не поможет, я стану преследовать Даниэля Рока, пока не найду его, хотя бы мне пришлось гнаться за ним на край света.

— Берегитесь, как бы не пострадали наши друзья, — заметил патер Браун. — Они не могли уйти далеко. Вы бы лучше окликнули их.

— Эта компания знает все устройство, — успокоил его Уилтон, — никто из них не вздумает перелезть через стену, разве... очень заторопится.

Патер Браун подошел к окну, через которое, очевидно, влетела стрела, и выглянул наружу. Сад, с его плоским цветником, лежал далеко внизу, напоминая раскрашенную нежными тонами карту мира. Широко раскинулись пустынные дали. А башня вытянулась так высоко, что патеру Брауну вдруг вспомнилась странная фраза.

— «Гром с ясного неба...» — прошептал он. — Кто это говорил? «Гром с ясного неба...» «упало прямо с неба...» Взгляните, как все далеко. Непонятно, как могла залететь сюда стрела, если это не была небесная стрела... Вспоминается авиация. Надо потолковать с молодым Уэном... об аэропланах.

— Они тут часто кружат, — сказал секретарь.

— Оружие либо очень новое, либо очень старое, — заметил патер Браун. — Кое-какие сведения по этому поводу есть, должно быть, у старика-дядюшки. Надо расспросить его о стрелах. Похоже на стрелу краснокожего. Не знаю, откуда мог пустить ее крас-

нокожий. Но вы помните, что рассказывал старик? Я еще сказал, что из этого можно вывести некоторую мораль?

— О, мораль! — с готовностью отозвался Уилтон. — Краснокожий может попасть с большего расстояния, чем предполагают — вот вам и мораль! Нелепо, однако, проводить параллель.

— Не думаю, чтобы вы вполне правильно уяснили себе мораль, — сказал патер Браун.

Хотя в ближайшие дни маленький патер как бы растворился среди многомиллионного населения Нью-Йорка и не стремился быть чем-либо иным, как только номером таким-то, на улице номер такой-то, но на самом деле он следующие две недели всецело был поглощен возложенным на него поручением, потому что сильно боялся какой-нибудь ошибки правосудия. Не подавая вида, будто он выпытывает их, он пользовался всяким удобным случаем, чтобы переговорить с двумя-тремя своими новыми знакомыми, причастными к этому таинственному делу. Особенно любопытный и интересный разговор имел он со старым Хикори Крэком. Дело происходило на скамейке в Центральном парке, на которой ветеран сидел, опершись костлявыми руками и топорикообразным лицом на странной формы набалдашник своей палки красного дерева, набалдашник, скопированный, пожалуй, с томагавка.

— Да, расстояние большое, — говорил он, покачивая головой, — но я советовал бы вам не быть чересчур категоричным насчет того, с какого расстояния может попадать в цель стрела индейца. Помню

несколько случаев, когда стрела летела также прямо, как пуля, и попадала в цель удивительно метко, принимая во внимание дальность расстояния. Конечно, сейчас ничего не слышно ни о каких краснокожих с луками и стрелами, тем более не слышно, чтобы краснокожие бродили поблизости. Но если бы случайно кто-нибудь из старых, прославленных индейских стрелков, с одним из старых индейских луков в руках, скрывался бы в перелеске, в нескольких сотнях ярдов от стен, окружающих дом Мертона, то я не поручился бы, что благородный дикарь не сумел бы послать стрелу поверх стены, в самое верхнее окно дома Мертона, даже в самого Мертона. В былые времена я видывал вещи и почудеснее.

— И не только видывали, но и делали, вероятно? — любезно осведомился патер Браун,

Старый Крэк поперхнулся и угрюмо проворчал:

— О, это древняя история!

— Люди не прочь иногда покопаться в древних историях, — продолжал патер Браун. — Я полагаю, в вашем формуляре нет ничего такого, что могло бы дать им повод для неприятных разговоров по поводу этого дела?

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Крэк. Глаза его забегали, и красная деревянная физиономия, сама похожая на томагавк, дрогнула.

— Ну, раз вам так хорошо знакомы уловки и приемы краснокожих... — медленно начал патер Браун.

Крэк только что перед тем сидел скорчившись и тяжело опирался на свой костыль с диковинной ручкой. Но при этих словах он вскочил и выпря-

мился во весь рост, с воинственным видом потрясая зажатым в руке костылем.

— Что такое? — вырвалось у него сиплым криком. — Кой черт! Вы смеете подозревать меня в том, что я убил своего шурина?

Люди, сидевшие на соседних скамейках и на составленных вдоль дорожки стульях, повернулись и уставились на споривших: на лысого, энергичного человечка, который размахивал своей заморской палкой, как дубинкой, и на маленького священника — черную, толстенькую фигурку, — который смотрел на него, не шевеля ни одним мускулом, лишь моргая глазами. В первый момент казалось, что черная фигурка будет уложена с чисто индейской быстротой, и на горизонте уже вынырнула массивная фигура полисмена-ирландца, который направлялся к группе. Но священник сказал самым мирным тоном, будто отвечая на простой вопрос:

— Я сделал кое-какие выводы, но не собираюсь говорить о них, пока не закончу своего донесения. Что повлияло — взгляд ли патера Брауна или звук шагов полисмена — трудно сказать, но старый Хикори, ворча, сунул палку под мышку и нахлобучил шляпу. Патер Браун кротко простился с ним, не спеша вышел из парка и направился в холл того отеля, где рассчитывал найти молодого Уэна.

Молодой человек вскочил с места, здороваясь с ним; вид у него был еще более усталый и измученный; казалось, его снедает тревога; и патер Браун заподозрил, кроме того, что его юный друг, с несомненным успехом, только что занимался нарушением последнего «Добавления к Американской Конститу-

ции». Но при первом упоминании о занимавшем их обоих трагическом случае Уэн оживился и весь превратился во внимание. А патер Браун начал с того, что как бы невзначай, к слову, спросил, часто ли показываются аэропланы в тех местах, и упомянул, что в первый момент принял обиталище мистера Мертон за аэродром.

— Удивительно, что вы не видали там ни одного аэроплана, — ответил капитан Уэн. — Иной раз они так и носятся, как мухи. Эта долина — самое подходящее для них место. И впоследствии, возможно, сделается главным, так сказать, рассадником этого рода птиц. Я и сам не раз летал в тех краях и знаю почти всех, кто летал еще до войны. Но сейчас авиацией начинает заниматься куча людей, о которых я понятия не имею. Скоро, верно, с аэропланами будет то же, что с автомобилями — каждый гражданин Соединенных Штатов обзаведется своим...

— Будучи Создателем наделен правом на жизнь, на свободу и... на занятие автомобилизмом... не говоря об авиации. Надо думать, следовательно, что над домом мог пролететь чужой аэроплан, не привлекая ничего внимания?

— Да, — подтвердил молодой человек.

— С другой стороны, — продолжал его собеседник, — хорошо известный летчик мог раздобыть аппарат, который не признали бы его аппаратом. Вот вы, например, если бы вы летали, как обычно, мистер Мертон и его друзья могли бы узнать вас, но стоило бы вам переменить машину, или как это там называется, и вы имели бы полную возможность про-

лететь настолько близко от окна, насколько это требовалось бы из практических соображений...

— Да, — начал молодой человек, почти машинально, и вдруг оборвал и уставился на священника, разинув рот, выпучив глаза.

— Боже! — вырвалось у него негромко. — Боже!

Он поднялся, весь бледный, трясаясь с головы до ног и не сводя глаз с патера Брауна.

— Да вы с ума сошли! — воскликнул он. — Вы бредите?

И, после паузы, заговорил снова, захлебываясь, свистящим шепотом:

— Вы осмелились явиться сюда, чтобы намекнуть...

— Нет, всего лишь для того, чтобы получить указания, — сказал патер Браун, подымаясь. — Я, кажется, сделал кое-какие предварительные заключения, но предпочитаю оставить их пока при себе.

И, раскланявшись со своим собеседником с несколько чопорной учтивостью, он ушел из отеля, с тем чтобы продолжать свои скитания.

В сумерки того же дня они привели его в самую старую и неправильно застроенную часть города, где мрачные улочки и лесенки спускаются и сваливаются в реку. Под разноцветным фонарем, у входа в довольно низкопробный китайский ресторанчик, он увидел фигуру, которую встречал раньше, но совсем в ином виде.

Мистер Норман Дрэг по-прежнему сурово бросал вызов миру, как темной стеклянной маской, прикрываясь своими большими очками. Но если не считать очков, во всей его внешности за истекший пос-

ле убийства месяц произошла разительная перемена. Тогда он был одет с иголочки — патер Браун обратил на это внимание; одет с той изысканностью, при которой почти стирается грань между денди и восковой фигурой в окне портного. Сейчас цилиндр его еще сохранился, но уже изломался и потрепался, платье разваливалось. Часовая цепочка и другие менее важные украшения исчезли. Тем не менее патер Браун обратился к нему так, будто они расстались вчера лишь, и, не задумываясь, уселся рядом с ним на скамье в дешевой харчевне, куда тот направлялся.

Заговорил, однако, первый не он:

— Что ж, удалось вам отомстить за святого и канонизированного миллионера? Известно ведь, что все миллионеры святые и канонизированы. Стоит заглянуть в газету на другой день. Там все сказано: как они росли, просвещались, читали семейную библию, сидя на коленях матери. Ги-и! почитали бы они кое-какие штучки из семейной библии — мамаша изумилась бы! Да и миллионеры тоже, я полагаю. Старая книжица переполнена старыми свирепыми понятиями, которые сейчас отошли в область предания: мудростью каменного века, погребенного под пирамидами. Что если бы кто-нибудь сбросил старика Мертон с этой его башни и отдал его на съедение псам? А с Иезавелью это проделали. Агава разве не изрубили на куски, хоть он был человек деликатного поведения? Мертон — будь он проклят — был тоже человек деликатного поведения, пока не оказался слишком деликатным для жизни вообще. И стрела божья настигла его точь-в-точь как в старой книге. И поразила его на смерть в его башне, народам на удивление!..

— Стрела-то во всяком случае была материальная, — сказал собеседник Дрэга.

— На что материальнее пирамид! Не выпускают из недр своих мертвых царей, — ухмыльнулся человек в очках. — Думается мне, в пользу этих старых религий многое можно бы сказать. На старых камнях их высечены боги и императоры с согнутыми луками и с такими руками, которые, видно, и на самом деле могли сгибать каменные луки. Материал, конечно, — но что за материал! Вам не случилось разве глазеть на эти старинные восточные изображения и всякие штуки до тех пор, пока не начинало казаться, будто старый господин Бог по-старому правит колесницей, как темнокудрый Аполлон, и рассылет стрелы смерти?

— Если бы это было так, я скорее назвал бы его другим именем, — возразил патер Браун, — но не думаю, чтобы Мертона убила «стрела смерти» или хотя бы каменная стрела.

— Вы, должно быть, думаете, что он св. Себастиан, пронзенный стрелой, — хихикнул Дрэг. — Миллионера надо непременно возвести в мученики. А почему вы знаете, не по заслугам ли ему это? Миллионеры, верно, не по вашей части. Разрешите же вам сказать, что он заслуживал и худшее, во сто раз худшее...

— Так почему же вы не убили его? — мягко спросил патер Браун.

— Вы спрашиваете почему? — воскликнул тот, озадаченный. — Однако, и священник же вы!

— Ничуть не бывало, — отозвался патер Браун, как бы отклоняя комплимент.

— Очевидно, вы этим хотите сказать, что я его убил, — огрызнулся Дрэг. — Что ж, докажите! А что касается его — не велика потеря, думается мне.

— Нет, велика! — резко бросил патер Браун. — Для вас — потеря большая. Поэтому-то вы и не убили его.

Он ушел, а человек в очках, разинув рот, смотрел ему вслед.

Прошло с месяц, прежде чем патер Браун вторично побывал в доме, где третий миллионер пал жертвой вендетты Даниэля Рока. Собрался совет из наиболее заинтересованных лиц. Во главе стола сидел старый Крэк, с племянником по правую руку и юристом по левую; огромный человек с африканскими чертами лица — имя его оказалось Гаррис — присутствовал в качестве свидетеля; рыжеволосый, остроносый субъект, откликнувшийся на имя Диксона, по видимому, представлял собой пинкертоновское или какое-то другое детективное агентство. Патер Браун скромно проскользнул на пустое место подле него.

Все газеты земного шара были переполнены сведениями о катастрофическом конце колосса финансов, великого организатора *крупных дел*, которые вершат судьбы современного мира. Но небольшая группа лиц, которая была вблизи него в самый момент его смерти, могла сообщить немного. Дядя, племянник и стряпчий заявляли, что они уже успели выбраться за наружную стену к тому времени, как была поднята тревога. Сторожа, охранявшие оба выхода, сбивались в показаниях, но в общем подтверждали это заявление. Лишь одно обстоятельство вносило

некоторую путаницу и требовало внимательного расследования. По-видимому, в то самое примерно время, когда произошло убийство, у входа бродил какой-то таинственный незнакомец, который хотел видеть мистера Мертона. Слуги долго не могли понять, чего он хочет, так как выражался он очень витиевато. Но впоследствии его появление показалось подозрительным, тем более что он говорил что-то о злом человеке, который будет уничтожен велением небес.

Питер Уэн наклонился вперед, с загоревшимися на изможденном лице глазами, и сказал:

— Бьюсь об заклад, что это был Норман Дрэг.

— Это что еще за птица, Норман Дрэг? — спросил дядюшка.

— Я сам не прочь бы узнать, — ответил молодой человек. — Я даже раз как-то прямо спросил его, но у него есть замечательная способность запутывать самый простой вопрос и увиливать от ответа. Загибал мне что-то насчет будущего летающих кораблей. Я вообще не очень-то доверял ему.

— Но что он за человек? — снова спросил Крэк.

— Он — мистагог, — с наивной готовностью отозвался патер Браун. — Их сейчас сколько угодно. Из тех субъектов, что, сидя в парижском кафе или кабачке, утверждают, будто сорвали покрывало Изиды или открыли тайну Стоунхенджа. Для случая, подобного данному, у них, конечно, найдется какое-нибудь мистическое объяснение.

Гладкая черная голова мистера Бернарда Блэка учтиво склонилась в сторону говорившего, но в его улыбке было чуть заметное недоброежелательство.

— Я никак не предполагал, сэр, — сказал он, — что вы можете не одобрять мистических объяснений.

— Напротив, — возразил патер Браун, с самой любезной улыбкой прищуривая глаза. — Такое отношение с моей стороны вполне понятно. Всякий псевдозаконник может провести меня, но не проведет вас, потому что вы сами законник. Всякий дурак, вырядившийся краснокожим, мог бы сойти в моих глазах за подлинного Гайавату, но мистер Крэк, наверное, увидел бы его насквозь. Плут, который легко убедил бы меня в том, что превзошел все мудрости авионики, был бы без труда разоблачен капитаном Уэном. Мне не нужны мистагоги именно потому, что я сам не чужд мистики. Подлинный мистик не скрывает тайн, он их разъясняет. Выносит на яркий солнечный свет, а... тайна все же остается тайной. Мистагог, тот бережет свою тайну во мраке, а когда доберешься до нее — оказывается, ничего и нет — одно пустое место. Но, в частности, что касается Дрэга, я допускаю, что он имел в виду нечто совсем другое и гораздо более реальное, когда говорил об огне небесном и о громе с ясного неба.

— Но что же? — спросил Уэн. — Как бы то ни было, я думаю, за ним надобно последить.

— Что он имел в виду? — медленно проговорил патер Браун. — Он хотел навести нас на мысль о сверхъестественном, о чуде именно потому, что... он знал, что никакого чуда здесь нет.

— А! — прошипел Уэн. — Я так и думал! Проще говоря, он сам — убийца.

— Проще говоря, он — убийца, не совершивший убийства, — спокойно поправил патер Браун.

— Вы полагаете это значит «говорить проще»? — учтиво осведомился юрист.

— Теперь вы меня ославите мистагогом, — сказал патер Браун, широко, хотя и несколько смущенно улыбаясь. — Но это вышло случайно. Дрэг не совершил преступления — этого преступления, по крайней мере. Единственное его преступление заключалось в том, что он кого-то шантажировал и с этой целью шатался тут кругом. Но он отнюдь не хотел разглашать тайну, как не хотел и того, чтобы смерть помешала ему впредь устраивать свои делишки. О нем речь может быть впереди. В данный момент я лишь хочу устранить его с пути.

— С какого пути? — спросил юрист.

— С пути истины, — пояснил патер Браун, спокойно глядя на него.

— А вы полагаете, — снова спросил, уже запинаясь, первый, — что знаете истину?

— Полагаю, — скромно ответил патер Браун. Наступило внезапное молчание, которое было прервано Крэком, неожиданно крикнувшим скрипучим голосом:

— Что это? Где же секретарь? Уилтон! Ему надо бы быть здесь.

— Я поддерживаю сношения с мистером Уилтоном, — серьезно сказал патер Браун. — Я даже просил его позвонить мне сюда. Он скоро должен звонить. В сущности, мы раскопали это дело с ним вдвоем, так сказать.

— Ну, если вдвоем, все должно быть в порядке, — проворчал Крэк. — Я знаю, он всегда, как гончая, вынюживал след этого негодяя, так что вы хорошо сде-

лали, объединившись с ним. Но если верно то, что вы говорите, каким образом вы узнали всю правду?

— Я узнал ее от вас, — спокойно ответил патер Браун, не сводя кроткого взгляда с ветерана, который начинал выходить из себя. — Я хочу сказать, что первая догадка осенила меня, когда вы рассказали об индейце, бросившем нож и убившем человека на вышке форта.

— Вы неоднократно упоминали об этом, — сказал Уэн, — но я не вижу ничего общего... разве только то, что Даниэль Рок умертвил человека в доме, очень напоминающем форт. Но стрела была ведь не брошена, а выпущена из лука, вероятно. Залетела она необычайно далеко, конечно, но я не вижу, чтобы мы-то особенно далеко подвинулись!..

— Боюсь, вы упустили из виду центр тяжести истории мистера Крэка, — возразил патер Браун. — Дело не в том, что один предмет может пролететь большое расстояние, а другой — еще большее. А в том, что всякий предмет, всякое оружие может быть употреблено и не по прямому назначению. Люди из форта мистера Крэка считали, что нож — оружие для рукопашного боя, и забывали, что его можно пустить в ход, как метательный снаряд — как дротик или копьё. Другие, знакомые мне люди, думали о некоем предмете лишь как о метательном снаряде, и забывали, что, в конце концов, его можно пустить в ход вручную — как копьё. Короче говоря, мораль этой истории такова: раз кинжал может быть превращен в стрелу, то и стрела может быть превращена в кинжал.

Все взоры были теперь устремлены на него, но он продолжал тем же ровным обыденным тоном:

— Все мы, естественно, удивлялись и ломали себе голову над тем: кто же пустил стрелу в окно? и с большого ли расстояния? и т. п. А правда заключается в том, что стрелы никто не пускал. Что она вовсе не влетала в окно...

— Но как же она попала в таком случае? — спросил черноволосый юрист, заметно нахмурившись.

— Кто-то принес ее с собою, полагаю, — ответил патер Браун. — Пронести ее незаметно было не трудно. Кто-то держал ее в руке, стоя подле Мертонна в комнате Мертонна. Кто-то вонзил ее в горло Мертонна, как кинжал. И затем весьма разумно разместил все так и под таким углом, что всем нам тотчас пришло в голову, будто стрела влетела в окно, как птичка.

— Кто-то! — повторил старый Крэк, тяжелым как камень голосом.

Резко, со зловещей настойчивостью, зазвенел телефон. Он помещался в соседней комнате, и патер Браун бросился туда так стремительно, что никто из остальных и двинуться не успел.

— Что все это значит, черт возьми? — воскликнул Питер Уэн, видимо сильно потрясенный и расстроенный.

— Он говорил, что ждет звонка Уилтона, — ответил дядюшка тем же безжизненным тоном.

— Надо думать, это и звонит Уилтон? — заметил юрист, явно лишь для того, чтобы что-нибудь сказать. Никто ему не ответил. Царило глубокое молчание, пока в комнату не вернулся патер Браун.

— Джентльмены, — сказал он, усаживаясь на прежнее место, — вы сами просили меня доискаться истины в этой загадке. И, доискавшись, я намерен огласить ее, не стараясь смягчить удар. Да и вряд ли человек, сунувший нос в подобное дело, может сохранить особое уважение к людям.

— Очевидно, — сказал Крэк, первый нарушая наступившее после этих слов молчание, — из этого следует, что против некоторых из нас выдвигается обвинение или, по крайней мере, подозрение.

— Все мы под подозрением, — ответил патер Браун, — и я в том числе, потому что я первый нашел труп.

— Конечно, мы под подозрением, — выпалил Уэн. — Отец Браун уже как-то любезно разъяснил мне, что я мог бы держать башню под осадой с аэроплана.

— Нет, — поправил, улыбаясь, патер Браун, — это не совсем так: вы мне описывали, как вы могли бы это проделать. Это-то и было особенно любопытно.

— А обо мне он, кажется, думал, что я сам убил Мертонна из индейского лука, — проворчал Крэк.

— Я считал это совершенно неправдоподобным, — заявил патер Браун с кислой гримасой. — Жалею, если я поступал нехорошо, но у меня не было другого способа нащупать почву. Трудно представить себе что-нибудь нелепее предположения, будто капитан Уэн в самый момент убийства крейсировал у окна на огромной машине и никто этого не заметил; не менее нелепо предположение, будто почтенный старый джентльмен стал бы изображать краснокожего, прячась с луком и стрелами за кустами, чтобы убить

человека, которого он мог бы убить всевозможными другими, несравненно более простыми, способами. Но мне надо было выяснить, имели ли капитан Уэн и мистер Крэк какое-либо отношение к этому делу. И мне пришлось обвинить их, чтобы доказать их не-причастность.

— Что же убедило вас? — спросил Блэк, стряпчий, весь подавшись вперед.

— То волнение, которое они проявили, когда почувствовали себя заподозренными, — ответил патер Браун.

— Не поясните ли вы свои слова?

— Если разрешите. — Патер Браун прекрасно владел собой. — Я безусловно считал, что мой долг — подозревать их, как и всех остальных. Я подозревал мистера Крэка и капитана Уэна, иными словами, я взвешивал, насколько возможно или вероятно, чтобы один из них совершил преступление. Я тогда же сказал им, что сделал уже свои заключения, а сейчас объясню, какого рода были эти заключения. Я убедился в том, что они невиновны по их поведению в тот момент, когда они осознали свое положение и пришли в негодование. Пока они не подозревали, что могут быть обвинены, они сами продолжали давать мне материал для обвинения. Они буквально разъяснили мне, как могли бы совершить преступление. Потом вдруг соображали, что их обвиняют. Потрясение, бешеные крики... Будь они виновны, они выдали бы себя задолго до того, как сообразили, а в данном случае они сообразили раньше, чем я успел выдвинуть против них обвинение. Этого никогда не случается с настоящим преступником. Он или сразу на-

стораживается и огрызается или до конца разыгрывает ничего не замечающую невинность. Во всяком случае, он не станет сначала ухудшать свое положение, а потом, вздыбившись, бешено отрицать и опровергать подозрение, которое сам же навлек на себя. Сознание убийцы всегда так болезненно настроено, что он не может сначала забыть о своем отношении к данному делу, а затем спохватиться и начать горячо отрицать свою связь с ним. Так я выпытал вас, а также и некоторых других лиц — по другим причинам, о которых сейчас нечего говорить. Вот, например, секретарь... Впрочем, теперь речь не об этом. Я только что говорил с Уилтоном по телефону, и он разрешил мне поделиться с вами кое-чем. Новости довольно важные. Я полагаю, что в данный момент вам всем известно, кто такой Уилтон и какую он преследовал цель?

— Знаю, он выслеживал Даниэля Рока и говорил, что не успокоится, пока не доберется до него, — отзывался Питер Уэн. — Слышал я также, что он сын старого Хардера и что для него это было делом кровной мести. Надо думать, он и сейчас разыскивает этого Рока.

— Так знайте же, — сказал патер Браун, — что он нашел его.

Питер Уэн в волнении вскочил с места.

— Нашел убийцу?! — воскликнул он. — И что же, убийца уже под замком?

— Нет, — серьезно продолжал патер Браун. — Я сказал, что новости важные. Боюсь, что бедняга Уилтон взял на себя огромную ответственность. Боюсь, что он теперь возлагает огромную ответственность

на нас. Он выслеживал преступника и... в тот момент, когда припер его наконец к стене, он, как бы это сказать, он... сам... взял на себя функции правосудия!

— Вы хотите сказать, что Даниэль Рок... — начал юрист.

— Я хочу сказать, что Даниэль Рок умер, — подтвердил патер Браун. — Была отчаянная борьба, и Уилтон убил его.

— Поделом негодяю, — проворчал мистер Хикори Крэк.

— Трудно осуждать Уилтона за убийство такого злодея, особенно, принимая во внимание законную месть, — поддержал дядюшку Уэн.

— Я с вами не согласен, — сказал патер Браун. — Хорошо нам тут толковать вкривь и вкось, с романтической точки зрения защищая линчевание и беззаконие. Но мы первые, наверное, пожалели бы, если бы пришлось отказаться от наших законов и свобод. Да, кроме того, логично ли оправдывать какими-либо мотивами убийство, совершенное Уилтоном, не справившись даже — не было ли у Даниэля Рока таких побуждений, которые могли бы послужить к его оправданию? Сомневаюсь, чтобы Рок был заурядным убийцей. Возможно, что он был маньяк, стоявший вне закона, бредивший Чашей, требовавший ее с угрозами и убивавший только в борьбе. Обе его жертвы были найдены мертвыми в нескольких шагах от дома. Против поступка Уилтона говорит прежде всего то, что мы никогда не узнаем точки зрения Даниэля Рока.

— Будет вам. Терпенья нет слушать эту сентиментальную защиту негодного убийцы-шантажиста! —

вскипел Уэн. — Если Уилтон прикончил мерзавца, он сделал хорошее дело, и довольно об этом.

— Вот именно, вот именно, — поддержал его дя-дюшка, энергично кивая головой.

Лицо патера Брауна приняло еще более серьезное выражение. Он медленно обвел глазами собравшихся.

— Вы в самом деле такого мнения? — спросил он. И вдруг почувствовал, что он англичанин, что здесь он на чужбине. Среди чужестранцев, хотя бы и друзей. В груди у них пылает огонь беспокойства, несвойственный его народу. Неистовый дух западной нации, которая умеет восставать и линчевать и, прежде всего, сопоставлять. Он понял, что они уже сопоставили.

— Хорошо, — сказал, вздохнув, патер Браун. — Вы, значит, решительно отпускаете этому несчастному его преступление или самосуд — называйте как хотите? В таком случае, я могу, не опасаясь за него, сообщить вам кое-какие подробности.

Он неожиданно поднялся на ноги. И, хотя никто не понял значения его движения, самый воздух в комнате вдруг заглодал.

— Уилтон убил Рока не совсем обычным способом, — начал он.

— Как же он его убил? — резко бросил Крэк.

— Стрелой, — уронил патер Браун.

Сумерки сгущались. Дневной свет умирал за большим окном внутренней комнаты, в которой был убит великий миллионер. Глаза всех машинально повернулись к этому окну. Но никто не проронил ни звука.

Потом:

— Что... что вы говорите? Брандер Мертон был убит стрелой. Тот негодяй... тоже стрелой... — по-старчески прокудахтал срывающимся голосом Крэк.

— Одной и той же стрелой, — объявил патер Браун, — и в тот же самый момент.

Снова молчание, задышающееся, насыщенное молчание, потом молодой Уэн начал:

— Вы хотите сказать...

— Что ваш друг Мертон и Даниэль Рок — одно и тоже лицо, — твердо сказал патер Браун. — И другого Даниэля Рока вам никогда не найти. Ваш друг Мертон всегда с ума сходил по Коптской Чаше и, кажется, поклонялся ей как идолу. В дни своей юности, очень необузданной, он, чтобы добыть ее, убил двух человек. Впрочем, я все еще думаю, что эти две смерти лишь случайно оказались связанными с грабежом. Как бы то ни было, вся эта история была известна человеку по имени Дрэг, и тот шантажировал Мертона. Уилтон же преследовал иные цели. Думаю, что он открыл правду лишь после того, как попал сюда. Он охотился на Даниэля Рока, и кончилась эта охота здесь, в этом доме, в той комнате, где он убил убийцу своего отца.

Долгое время никто не отзывался.

Старый Крэк вдруг забарабанил пальцами по столу и забормотал:

— Брандер, верно, был сумасшедшим, сумасшедшим...

— Но, небо! как же нам быть! — всполошился Питер Уэн. — Что делать? О, это все меняет! Что ска-

жут газеты и видные дельцы?! Брандер Мертон был на виду не менее, чем президент или папа римский.

— Да, я также полагаю, что разница большая, — негромко заговорил Бернارد Блэк, стряпчий. — И это заставляет...

Патер Браун ударил по столу так, что стоявшие на нем стаканы зазвенели. И всем показалось, будто слабым эхо ответила таинственная Чаша, которая все еще стояла в соседней комнате у окна.

— Нет! — крикнул он, как выстрелил. — Никакой разницы не должно быть! Я дал вам возможность пожалеть убитого беднягу, пока вы считали его просто преступником. Вы и слышать не хотели. Вы все оправдывали такое сведение личных счетов. Находили, что Рока следовало прикончить, как дикого зверя, без суда и следствия. Что он получил по заслугам. Прекрасно! Если Даниэль Рок получил по заслугам, то и Брандер Мертон получил по заслугам! То, что было хорошо для Рока, должно быть хорошо и для Мертона! Выбирайте: либо ваше свирепое правосудие, либо наша скучная законность, о, во имя неба, пусть беззаконие или законность будут одинаковы для всех, пусть перед лицом — того ли, другого ли — будут все равны!

Никто не отвечал, только стряпчий проворчал:

— Что сказала бы полиция, если бы знала, что мы намерены выпустить убийцу?

— Что она сказала бы, если бы я сообщил ей, что вы его уже выпустили? — возразил патер Браун.

Помолчав, он продолжал более мягким тоном:

— Я лично готов рассказать всю правду, если ко мне обратятся люди власть имущие. Вы все можете

поступать, как вам заблагорассудится. Но фактически это ничего не изменит. Уилтон звонил мне, чтобы сказать, что я могу открыть вам всю правду, так как к тому времени, как вы ее узнаете, он будет уже вне пределов досягаемости!

Патер Браун не спеша прошел в соседнюю комнату и остановился у столика, подле которого умер миллионер.

Коптская Чаша стояла на прежнем месте, и он некоторое время смотрел, как горели, переливаясь всеми цветами радуги, ее камни, затем перевел взгляд на голубую бездну неба.

III

Собака-оракул

— Да, — сказал патер Браун, — я люблю собак, но только до тех пор, пока из них не делают божества.

Хорошие говоруны не всегда бывают хорошими слушателями. Иногда самый блеск их придает им какую-то тупость. Собеседник патера Брауна был молодой человек с целой кучей идей и историй — восторженный молодой человек по имени Фьенн, с острыми голубыми глазами и белокурыми волосами, которые, казалось, были зачесаны назад не только щеткой, но и всеми ветрами мира. Он мгновенно прервал поток своего красноречия и лишь после нескольких секунд недоуменного молчания понял весь ма простой смысл слов патера Брауна.

— Вы хотите сказать, что люди чересчур перевозносят собак, — промолвил он. — Не знаю. По-моему, собаки — изумительные создания. Порой мне кажется, что они знают гораздо больше нас.

Патер Браун ничего не ответил. Он продолжал рассеянно, но очень нежно гладить по голове крупного сеттера, сидевшего у его ног.

— Так вот, — сказал Фьенн, с прежним жаром возобновляя свой монолог, — в той истории, которая привела меня к вам, как раз замешана собака. Я го-

ворю об «убийце-невидимке». Вся история сама по себе достаточно странная, но самое загадочное в ней, по-моему, — собака. Конечно, все преступление — тайна. Каким образом был убит старик Дрюс, когда, кроме него, в беседке никого не было...

Рука, ритмично поглаживавшая собаку, на мгновение остановилась.

— А! Стало быть, это произошло в беседке? — спокойно спросил патер Браун.

— Я думал, вы прочли подробности в газетах, — ответил Фьенн. — Подождите минутку. Кажется, у меня есть при себе вырезка с подробным отчетом. — Он достал из кармана газетную вырезку и передал ее священнику. Тот поднес ее к своим мигающим глазам и углубился в чтение, продолжая свободной рукой почти бессознательно гладить собаку. Его поведение приводило на ум притчу о человеке, правая рука которого не ведает того, что творит левая.

«По поводу загадочного преступления в Кранстоне, Йоркшир, вспоминаются все детективные романы, в которых фигурируют преступники, проникающие в запертые двери и окна и покидающие наглухо закрытые помещения. Как уже сообщала наша газета, полковник Дрюс был заколот кинжалом в спину, причем орудие преступления исчезло бесследно.

Беседка, в которой был найден труп, имеет только один выход, прямо на главную аллею сада. Однако, по странному стечению обстоятельств, и самая аллея, и вход в беседку находились под наблюдением в момент совершения преступления, что подтверждается рядом свидетельских показаний. Беседка находится в самом конце сада, у изгороди. Централь-

ная аллея обсажена двумя шпалерами цветов и ведет без единого поворота к самой беседке. Таким образом, никто не мог бы пройти по ней незамеченным. Иного же доступа к беседке не было.

Патрик Флойд, секретарь убитого, утверждает, что он имел возможность обозревать весь сад целиком в тот момент, когда полковник Дрюс в последний раз появился на пороге беседки, так как он, Флойд, в это самое время подстригал живую изгородь сада, стоя на стремянке.

Джэнет Дрюс, дочь покойного, подтверждает показания Флойда. По ее словам, она все время сидела на террасе виллы и смотрела, как работает Флойд. То же самое показывает и брат ее, Дональд Дрюс, стоявший у окна своей спальни в халате (он в тот день встал поздно) и глядевший в сад. Все эти три показания в свою очередь совпадают с показаниями соседа Дрюсов, д-ра Уолентайна, беседовавшего на террасе с мисс Дрюс, и с показаниями стряпчего покойного, м-ра Обри Трейла, который, по-видимому, был последним из видевших полковника живым — за исключением, разумеется, убийцы.

Все эти показания воссоздают нижеследующую картину: приблизительно в половине четвертого пополудни мисс Дрюс, пройдя по аллее, приблизилась к беседке и спросила своего отца, когда он будет пить чай. На это м-р Дрюс ответил, что он вовсе не хочет чая и что он ждет своего адвоката, м-ра Трейла, за которым он уже послал. Мисс Дрюс отошла и, встретив м-ра Трейла в аллее, проводила его к беседке, куда он и вошел. Получасом позже м-р Трейл вышел из беседки; одновременно с ним на пороге появился

и полковник, находившийся, по всей видимости, в добром здравии; он был даже в несколько повышенном настроении, ибо в тот день его посетили еще гости — два племянника... Однако, в виду того, что последние были на прогулке в течение всего этого времени, они не могли дать никаких более или менее существенных показаний.

По слухам, полковник был в довольно натянутых отношениях с д-ром Уолентайном, но последний в тот день имел лишь непродолжительное свидание с дочерью покойного, к которой он, как говорят, весьма равнодушен. Стряпчий Трейл, по его словам, оставил полковника в беседке одного, что подтверждается также показаниями Флойда, удостоверяющего, что никто не входил в беседку после Трейла. Десять минут спустя мисс Дрюс вновь пошла по направлению к беседке и, не дойдя до конца аллеи, увидела своего отца в белом полотняном костюме лежащим на полу беседки. Она издала вопль, который привлек всех прочих на место происшествия. Войдя в беседку, они нашли полковника лежащим без признаков жизни подле опрокинутого соломенного кресла. Д-р Уолентайн, находившийся еще в поместье, установил, что смертельная рана была нанесена стилетом. Стиллет прошел под лопаткой и пронзил сердце. Вызванная полиция тщательнейшим образом обыскала всю усадьбу и ее окрестности: стилет, однако, не был найден».

— Так, стало быть, на полковнике Дрюсе был белый костюм? — спросил патер Браун, откладывая газетную вырезку.

— Да, он привык носить белый костюм в тропиках, — несколько удивленно ответил Фьенн. — По его

собственным словам, он пережил там множество разных приключений. И, как мне кажется, причиной его нелюбви к Уолентайну было именно экзотическое происхождение доктора. Так или иначе, вся эта история — загадка. Газетный отчет достаточно точен. Лично я не присутствовал при самой трагедии. Я как раз гулял с племянниками Дрюса и собакой — той самой, о которой я хотел с вами поговорить. Но зато я видел сцену театра перед самым поднятием занавеса: прямую, как стрела, аллею, обсаженную голубыми цветами и упирающуюся в беседку, стряпчего, идущего по ней в черном сюртуке и цилиндре, рыжую голову секретаря, орудующего своими ножницами где-то наверху, над живой изгородью. Эта голова была видна издалека, и если свидетели говорят, что они видели ее все время, то, значит, так оно и было. Этот рыжий секретарь Флойд — занятный тип. Этаким расторопный, подвижный паренёк, ежеминутно готовый взяться за чужую работу — вот хотя бы, как тогда, за работу садовника. Я думаю, он американец. Во всяком случае, у него американские взгляды на жизнь.

— Ну, а стряпчий? — спросил патер Браун.

Несколько секунд царило молчание. Потом Фьенн заговорил тихо, как бы про себя:

— Трейл показался мне не совсем обыкновенным человеком. В своем длинном черном сюртуке он выглядел почти франтом, хотя фешенебельным его никак нельзя было назвать — очень уж бросались в глаза его длинные, пышные черные бакенбарды, каких уже не носят со времен королевы Виктории. У него было тонкое, торжественное лицо, и манеры — тоже тор-

жественные и утонченные. Время от времени он как бы вспоминал, что нужно улыбнуться. И, когда он улыбался, обнажая свои белые зубы, он, казалось, терял некоторую долю своей импозантности, и в лице его чудилось что-то фальшивое, что-то неискреннее. Впрочем, это, может быть, происходило оттого, что он чувствовал себя смущенным; он все время трогал то свой галстук, то булавку в галстуке — столь же красивые и необычные, как он сам. Если бы я мог подозревать кого-либо... Но к чему говорить, когда все равно все это невозможно?! Никто не знает, кем совершено преступление. Никто не знает, как оно совершено. За одним, впрочем, исключением, ради которого я завел весь этот разговор. Собака знает все!

Патер Браун вздохнул и рассеянно промолвил:

— Вы были там в качестве друга юного Дональда? Он не пошел гулять вместе с вами?

— Нет, — ответил Фьенн, улыбаясь. — Молодой повеса лег спать на заре и встал около полудня. Я гулял с его двоюродными братьями — молодыми офицерами, приехавшими из Индии. Мы болтали о пустяках. Насколько мне помнится, старший из них, Герберт Дрюс, специалист по коннозаводству, говорил о недавно приобретенной им кобыле и о нравственных качествах человека, продавшего ее. А брат его, Гарри, жаловался на неудачу, постигшую его в Монте-Карло. Я упоминаю обо всем этом только для того, чтобы подчеркнуть, что наша прогулка носила самый тривиальный характер. Единственное, что было в ней мистического, это — собака.

— Какой породы была собака? — спросил священник.

— Такой же, как эта, — ответил Фьенн. — Я заговорил об этой истории из-за вашего замечания — вы сказали, что не верите, что можно верить в собак. Та собака — сеттер, довольно крупный, по кличке Нокс. По-моему, его поведение было еще таинственнее, чем само убийство. Как вам известно, поместье Дрюса расположено на берегу моря. Мы прошли вниз по берегу около мили и потом вернулись другой дорогой. По пути мы миновали очень любопытную скалу, известную под названием Скалы Судьбы во всей округе. Она представляет собой один огромный камень, лежащий в состоянии неустойчивого равновесия на другом, — малейший толчок может опрокинуть его. Скала не очень высока, но очертания ее довольно мрачные и необычные — по крайней мере, они показались мне таковыми; на моих спутников же скала, по-видимому, не произвела никакого впечатления. Возможно, что я уже начал ощущать некоторую сгущенность атмосферы, ибо я стал торопить моих спутников домой, чтобы не опоздать к чаю. Ни у меня, ни у Герберта Дрюса не было часов, и мы окликнули его брата, который отстал от нас, чтобы закурить трубку под прикрытием живой изгороди. Он громко крикнул нам: «Двадцать минут пятого!» И голос его прозвучал как-то странно в сгущающихся сумерках; казалось, что он возвещал о чем-то ужасном. Беспечность его как бы еще усиливала это впечатление. Впрочем, так это всегда бывает с предзнаменованиями. И, действительно, часы сыграли в тот день поистине зловещую роль. Ибо, согласно показанию доктора Уолентайна, бедняга Дрюс был убит как раз около половины пятого.

Ну-с, дальше... Мы решили, что в нашем распоряжении есть еще десять минут, и пошли побродить по берегу. Ничем особенным мы там не занимались — бросали камни и палки в воду и заставляли собаку плыть за ними. Но мне лично сумерки казались зловещими, а тень от Скалы Судьбы угнетала мое сердце, точно свинцовый груз. И вот тут-то случилось нечто удивительное. Нокс только что достал из воды тросточку Герберта, и Гарри бросил свою туда же. Собака опять бросилась в воду, но через несколько минут, как раз в половине пятого, устремилась обратно к берегу, вылезла из воды, остановилась перед нами, внезапно подняла морду и издала самый горестный вой, какой мне когда-либо приходилось слышать.

«Что случилось с собакой?» — спросил Герберт, но никто из нас не мог ответить. Наступило молчание, длившееся еще долго после того, как жалобный вой собаки замер на пустынном берегу. А потом это молчание было нарушено. Клянусь вам жизнью, оно было нарушено заглушенным женским воплем, донесшимся к нам из-за изгороди! Мы тогда не знали, что означает этот вопль; но мы узнали впоследствии. Этот вопль издала девушка, когда она увидела труп своего отца.

— Вы забегаете вперед, — спокойно сказал Патер Браун. — Что случилось потом?

— Сейчас я вам скажу, что случилось потом, — ответил Фьенн с мрачным воодушевлением. — Когда мы вернулись в сад, мы первым делом натолкнулись на стряпчего Трейла. Я его вижу, как сейчас, с его черными бакенбардами, в черном цилиндре, на фоне

голубых цветов, подступающих к беседке; и, как сейчас, вижу я вдали зловещие очертания Скалы Судьбы на фоне заката. Лицо Трейла было в тени, но, клянусь богом, я видел, что он улыбается, скаля свои белые зубы.

Как только Нокс увидел Трейла, он кинулся вперед, остановился посередине аллеи и начал лаять на него бешено, надрывисто, злобно, как бы изрыгая проклятия, почти членораздельные в своей лютой ненависти. И Трейл съежился и побежал по аллее, обсаженной цветами.

Патер Браун вскочил на ноги, охваченный удивительным нетерпением.

— Стало быть, собака уличила его? Так? — крикнул он. — Собака-оракул обвинила его в убийстве? А вы не посмотрели, как летят птицы — по левую руку от вас или по правую? А вы не спросили авгуров, какой вид имели жертвенные животные? Я надеюсь, что вы не преминули произвести вскрытие собаки и освидетельствовать ее внутренности? Вот они — те научные доказательства, к которым прибегаете вы, проклятые гуманитарии, когда вы хотите лишить человека жизни и чести?

Фьенн несколько секунд глядел на него, разинув рот. Наконец, он собрался с духом и пролепетал:

— Позвольте... что случилось? Что я сделал такого?

В глазах священника снова появилось выражение робости — робости человека, который налетел в темноте на фонарный столб и боится, что ушиб его.

— Простите, пожалуйста, — промолвил он с искренним огорчением, — я в отчаянии. Простите мне мою грубость.

Фьенн поглядел на него с любопытством.

— Порой мне кажется, что вы самая загадочная из всех загадок, — сказал он. — Как бы там ни было, вы можете не верить в собачью тайну, но вы не можете игнорировать тайну человеческую. Вы не можете отрицать, что в тот самый момент, когда собака выскочила из воды, хозяин ее был убит самым непостижимым и таинственным образом. Что касается стряпчего, то тут дело не в одной собаке; есть и другие весьма любопытные детали. Как вам уже известно, доктор и полиция явились на место преступления немедленно. Уолентайн еще не успел дойти до дому, когда его вызвали обратно, и он тотчас же телефонировал в полицию. В силу этого, а также благодаря уединенному положению поместья, представлялось возможным обыскать самым тщательным образом всех лиц, находившихся поблизости; точно так же были обысканы вилла, сад и берег. Орудие преступления найдено не было. Исчезновение стилета почти так же таинственно, как исчезновение убийцы.

— Исчезновение стилета, — повторил патер Браун, кивая. Он внезапно стал очень внимательным.

— Итак, — продолжал Фьенн, — я вам уже говорил, что у этого Трейла было странное обыкновение хвататься рукой за галстук и, в особенности, за булавку в галстук. Булавка эта, как и он сам, имела вид весьма фатовской, но не модной. Она была украшена каким-то камнем с разноцветными, концентрическими кругами, похожим на глаз. И то обстоятельство, что Трейл сам концентрировал все свое внимание на этом камне, действовало мне на нервы. Мне казалось, что он — циклоп с одним глазом посередине груди.

Булавка эта была очень длинной, и мне пришло в голову, что беспокойство Трейла по поводу сохранности ее вызывается главным образом тем, что на самом деле она была длиннее, чем казалась с первого взгляда, — короче говоря, что она имела длину стилета.

Патер Браун задумчиво кивнул.

— Делались ли какие-либо иные предположения относительно орудия убийства? — спросил он.

— Делались, — ответил Фьенн, — одним из молодых Дрюсов-племянников. Сначала мы решили, что Герберт и Гарри Дрюс едва ли смогут быть нам полезными в производстве дознания. Но в то время, как Герберт оказался типичнейшим кавалерийским офицером, не интересующимся ничем, кроме лошадей, его младший брат, Гарри, служивший, как выяснилось, в индийской полиции, кое-что понимал в этих вещах. В некоторых отношениях он был знающим парнем. Даже слишком знающим, как мне показалось. Дело в том, что он, невзирая на формальности, сразу же отмежевался от полиции и стал действовать на собственный страх и риск. Он до тех пор был, я бы сказал, безработным сыщиком и набросился на это дело с пылом, несвойственным любителю. И с ним-то у меня и произошел спор по поводу орудия убийства — спор, давший нам кое-что новое. Начался он с того, что я рассказал, как собака лаяла на Трейла. Гарри Дрюс заметил, что собака в момент величайшей злобы не лает, а рычит.

— Он совершенно прав, — вставил священник.

— Далее он заметил, что если уже говорить о собаке, то он слышал, как Нокс в тот самый день рычал и на других лиц — в частности, на секретаря Флойда.

На это я ему возразил, что он опровергает сам себя, ибо преступление не может быть приписано сразу двум или трем людям — и менее всего Флойд, невинному, как школьник. Не следует забывать, что его все время видели в саду на стремянке, откуда его рыжая шевелюра была не менее заметна, чем красное оперенье попугая. «Я знаю, что тут есть много нелепого, — ответил мне мой коллега, — но не откажите спуститься со мной на минутку в сад. Я покажу вам кое-что, чего никто еще не видел». Весь этот разговор имел место в день убийства, и в саду еще ничего не было тронуту; стремянка все так же стояла у изгороди, и подле нее мой вожатый остановился и поднял из густой травы некий предмет. То были садовые ножницы; на лезвии их была запекшаяся кровь.

Наступило краткое молчание, потом патер Браун неожиданно спросил:

— Зачем стряпчий приходил в поместье?

— По его словам, полковник послал за ним, чтобы внести кое-какие изменения в свое завещание, — ответил Фьенн. — Кстати, по поводу завещания я позволю себе упомянуть еще об одном обстоятельстве: завещание было подписано не в тот день.

— Ну, разумеется, — сказал патер Браун. — Для этого нужны были два свидетеля.

— Стряпчий приходил еще за день до того. Тогда завещание и было подписано. В день же убийства его вызвали вторично, так как у старика возникли кое-какие сомнения насчет одного из свидетелей.

— А кто были свидетели? — спросил патер Браун.

— Вот в этом-то и дело, — живо ответил Фьенн. — Свидетелями были секретарь Флойд и доктор Уолен-

тайн, этот экзотический хирург. А они, надо вам сказать, враги. Секретарь, по правде говоря, любит совать нос не в свои дела. Он из той породы горячих голов, у которых темперамент проявляется в склонности к кулачной расправе и в обостренной подозрительности. Эти пылкие малые либо доверяют всем и каждому, либо не доверяют никому. Флойд к тому же не только мастер на все руки, но и знает все лучше всех. Мало того — он считает своим долгом настраивать всех своих знакомых друг против друга. Все это следует принять во внимание, оценивая его подозрения относительно Уолентайна, но в данном случае за всем этим кроется нечто более важное. Он утверждал, что настоящая фамилия Уолентайна вовсе не Уолентайн. По его словам, тот где-то в другом месте именовался де Вильоном. Это обстоятельство лишает, дескать, завещание законной силы. Разумеется, он тут же счел нужным изложить стряпчему все законоположения, существующие на сей предмет. Оба страшно разъярились.

Патер Браун рассмеялся.

— Это часто бывает с подобного рода свидетелями, — сказал он. — Ведь они не получают наследства по завещанию, которое они подписывают. Ну, а что говорил доктор Уолентайн? Несомненно, этот универсальный секретарь знал о его настоящей фамилии больше, чем он сам. Тем не менее доктор тоже мог дать кое-какую информацию.

Фьенн молчал секунду, прежде чем ответить.

— Доктор Уолентайн вел себя странно. Доктор Уолентайн вообще странный человек. Внешность у него очень запоминающаяся, но какая-то экзотичес-

кая. Он еще молод, но носит бороду. Лицо у него бледное — страшно бледное и страшно серьезное. А в глазах — скрытая боль, словно у него мигрень от постоянных дум, или же ему следовало бы носить очки. Но в общем он красивый мальчик, одевается с большим вкусом, во все темное, носит цилиндр и маленькую красную розетку в петлице. Держится холодно, даже надменно и имеет обыкновение пристально глядеть на собеседника, что очень неприятно. Когда ему предъявили обвинение в том, что он переименовал свою фамилию, он несколько мгновений смотрел прямо перед собой, как сфинкс, а потом заявил с коротким смешком, что, по его мнению, американцам незачем менять свои фамилии. Тут полковник тоже вспылил и наговорил доктору массу резкостей. Он был тем более резок, что доктор претендовал на руку его дочери. Я не вспоминаю бы обо всем этом, если бы позже, в тот же день, мне не довелось услышать еще несколько слов. Я не хочу придавать им особого значения, ибо они не принадлежали к категории тех слов, которые приятно подслушивать. Когда я входил в ворота с моими двумя спутниками и собакой, я услышал голоса: доктор Уолентайн и мисс Дрюс стояли за клумбой у самой виллы и говорили между собой страстным шепотом, порой почти переходившим в шипенье. Не то это была любезная ссора, не то какой-то сговор. Обычно подобные речи не подлежат оглашению. Но, учитывая горестное событие, имевшее место в тот день, я вижу себя принужденным сказать, что в их разговоре неоднократно повторялась фраза о каком-то предстоящем убийстве. Девушка как будто просила его не убивать кого-

то или утверждала, что убийство не может быть оправдано никакой провокацией. Как видите — довольно странный разговор с джентльменом, зашедшим на чашку чая.

— Не знаете ли вы, — спросил священник, — был ли доктор Уолентайн очень разгневан после сцены с секретарем и полковником — я имею в виду сцену подписания завещания?

— По всей видимости, он был разгневан гораздо меньше секретаря, — ответил Фьенн. — Именно последний ушел разъяренный после того, как завещание было подписано.

— Ну, а что вы скажете насчет самого завещания? — спросил патер Браун.

— Полковник был очень богатый человек, и завещание его неминуемо должно было вызвать большие перемены в жизни многих людей. Трейл не хотел сказать нам в тот день, каким именно изменениям оно подверглось, но я впоследствии узнал, что большая часть состояния, отказанная сперва сыну, была переписана на дочь. Я вам уже говорил, что Дрюс был очень недоволен рассеянным образом жизни моего друга Дональда.

— Проблема метода заслонила проблему мотива, — задумчиво вымолвил патер Браун. — Итак, в данный момент мисс Дрюс, очевидно, является единственным лицом, извлечшим непосредственную выгоду из смерти полковника Дрюса?

— Господи, как можно говорить хладнокровно такие вещи? — воскликнул Фьенн, удивленно глядя на него. — Уж не хотите ли вы сказать, что она...

— Она выходит замуж за доктора Уолентайна? — спросил священник.

— Кое-кто против этого брака, — ответил Фьенн, — но Уолентайна любят и уважают в округе, и он опытный и весьма ревностный хирург.

— Столь ревностный, что он взял с собой свои хирургические инструменты, идя в гости на чашку чая, — заметил патер Браун. — Ведь ему, по-видимому, пришлось пустить в ход ланцет или что-нибудь в этом роде, а он не отлучался из поместья домой.

Фьенн вскочил на ноги и недоуменно уставился на священника.

— Вы допускаете, что он пустил в ход тот самый ланцет...

Патер Браун покачал головой.

— Все эти допущения до поры до времени ничего не стоят, — сказал он. — Вопрос сейчас не в том, кто совершил преступление, а в том, как оно было совершено. Можно отыскать сколько угодно людей и инструментов тоже — булавок, ножниц, ланцетов. Но как человек проник в комнату? Как проникла в нее хотя бы булавка?

Во время этой тирады он задумчиво смотрел на потолок. Когда же он произнес последнюю фразу, его глаза внезапно сузились и заблестели, словно он увидел на потолке муху какой-нибудь необычайной породы.

— Ну-с, так что же вы обо всем этом скажете? — спросил Фьенн. — Вы — человек опытный, что вы посоветуете?

— Боюсь, что мой совет в данный момент принесет вам мало пользы, — вздохнул патер Браун. — Я ничего не могу посоветовать, не повидав места преступления и не познакомившись с тамошними жи-

телями. В данный момент нужно, по-моему, продолжать следствие. Я думаю, ваш приятель из индийской полиции ведет его усиленным темпом.

Надо бы мне поехать туда и посмотреть, как он справляется со своей ролью сыщика-любителя и что он вообще делает. Пока последите за ним вы. Может быть, тем временем там выяснилось что-нибудь новое.

Когда гости — двуногий и четвероногий — удалились, патер Браун взялся за перо и уселся за прерванный труд — он писал конспект лекции на тему об энциклике. Тема эта была чрезвычайно серьезная и обширная, так что через два дня, когда в комнату вновь вбежал большой черный сеттер, патер Браун все еще был занят своим трудом. Собака бросилась к нему, охваченная возбуждением и восторгом. Хозяин ее, следовавший за ней, разделял ее возбуждение, но отнюдь не восторг. Его голубые глаза положительно вылезали из орбит, а узкое лицо было бледно.

— Вы посоветовали мне следить за тем, что делает Гарри Дрюс, — сказал он отрывисто и без всякого вступления. — Знаете, что он сделал?

Священник ничего не ответил, и молодой человек продолжал:

— Я вам скажу, что он сделал. Он покончил с собой.

Губы патера Брауна слабо дрогнули, и он произнес несколько слов, не имеющих никакого практического значения и никак не связанных с нашим повествованием.

— Вы мне иногда внушаете суеверный ужас, — сказал Фьенн. — Неужели вы этого ждали?

— Я полагал, что это возможно, — ответил патер Браун. — Потому я и просил вас последить за ним. Я надеялся, что вы не опоздаете.

— Я первый нашел его, — хрипло сказал Фьенн. — Это было самое ужасное и самое жуткое зрелище, какое я видел за всю мою жизнь. Когда я приехал в поместье и вновь пошел по аллее старого сада, я сразу понял, что в поместье случилось еще что-то страшное, кроме убийства полковника Дрюса. Цветы все еще громоздились голубыми купами по обе стороны черного входа в старую серую беседку. Но мне эти голубые цветы казались голубыми бесами, пляшущими у входа в некую адскую пещеру. Я поглядел по сторонам: все, казалось, было на месте, но в моей душе поднималось какое-то странное чувство; мне чудилось, что очертания неба изменились. И вдруг я увидел, что случилось. За изгородью сада на фоне моря всегда виднелась Скала Судьбы. И вот Скала Судьбы исчезла!

Патер Браун поднял голову и слушал с напряженным вниманием.

— На меня это произвело такое впечатление, словно гора снялась с места и вышла из пейзажа, словно луна упала с неба, — хотя я знал, что эту скалу можно было опрокинуть самым слабым толчком. Меня охватило какое-то безумие; я помчался по аллее, как ветер, и прорвался сквозь изгородь, точно это была паутина. Эта изгородь и в самом деле была очень хрупкой, хотя она содержалась в таком идеальном порядке, что вполне заменяла стену. Когда я прибежал на берег, я увидел, что гора свалилась со своего пьедестала — и бедный Гарри Дрюс

лежал раздавленный ею. Одной рукой он обнимал скалу, словно он сам опрокинул ее на себя. А на желтом прибрежном песке он начертил перед смертью огромными пляшущими буквами: «Скала Судьбы да падет на безумца!»

— Всему виной завещание полковника, — заметил патер Браун. — Этот юноша сделал все, чтобы извлечь выгоду из недовольства полковника Дональдом — в особенности, в тот день, когда полковник вызвал его одновременно со стряпчим и так тепло приветствовал его. У него не было выхода. Он потерял службу в полиции, проигрался дотла в Монте-Карло. И убил себя, когда понял, что убил своего дядю бесцельно.

— Подождите минуту! — крикнул Фьенн. — Я не поспеваю за вами.

— Кстати о завещании, — спокойно продолжал патер Браун. — Пока мы не перешли к более серьезным вещам, я объясню вам недоразумение с фамилией доктора. Все это очень просто. Я кажется уже где-то слышал обе его фамилии. Этот доктор — французский дворянин, маркиз де Вильон, но, кроме того, он — ярый республиканец; он отрекся от своего титула и переименовал фамилию. «Ваш гражданин Рикетти¹ на десять дней поверг в изумление всю Европу».

— Что это значит? — недоуменно спросил молодой человек.

— Не обращайтесь внимания, — сказал священник. — В девяти случаях из десяти человек, меняю-

¹ Мирабо (полная фамилия — граф Мирабо де Рикетти) отказался от своего титула. *Прим перев.*

ший фамилию, — прохвост. Но в данном случае мы имеем дело с проявлением фанатизма. Что касается его разговора с мисс Дрюс об убийстве, то тут, я думаю, мы опять-таки имеем дело с проявлением французского духа. Доктор говорил о том, что он вызовет Флойда на дуэль, а девица пыталась отговорить его.

— Понимаю! — воскликнул Фьенн. — Теперь мне ясно все, что она говорила!

— А что именно она говорила? — улыбаясь, спросил священник.

— Понимаете, — сказал Фьенн, — это случилось еще до того, как я нашел труп Гарри Дрюса. Но потом, когда я обнаружил катастрофу, это вылетело у меня из головы. Трудно, знаете ли, удержать в памяти романтическую идиллию, когда трагедия достигла кульминационной точки. Дело было так: идя по аллее, ведущей к беседке, я встретил дочь полковника и доктора Уолентайна. Она, разумеется, была в трауре, он тоже был в черном костюме, точно он шел на похороны. Но лица у них были отнюдь не похоронные. Я никогда в жизни не видал более счастливой парочки. Они остановились и приветствовали меня, а затем она сообщила мне, что они поженились и живут в маленьком домике на окраине города, где у доктора есть практика. Все это меня изрядно удивило, так как я знал, что отец завещал ей все свое состояние; я деликатно намекнул ей на это, сказав, что я приехал в поместье ее покойного отца, надеясь встретить ее там в качестве хозяйки. Но она только рассмеялась и сказала: «Мы от всего отказались. Мой муж не любит богатых наследниц». И я, к немалому

моему удивлению, узнал, что они действительно уступили все наследство бедняге Дональду. Я надеюсь, что после такого урока он будет вести себя благоразумней. В сущности, он всегда был неплохим парнем, он просто был еще очень молод, а отец его не отличался большим умом. И именно в связи с этим она сказала несколько фраз, я тогда не совсем понял их, но теперь они для меня ясны. Она вдруг заявила: «Я полагаю, что теперь этот рыжий безумец перестанет бунтовать по поводу завещания. Неужели он думает, что муж, отказавшийся из принципа от древнего и старого титула, способен убить старика ради наследства?» Она опять рассмеялась и добавила: «Если мой муж и убьет кого-нибудь, то только в качестве хирурга. Ему даже в голову не придет посылать к Флойду своих секундантов». Теперь я понимаю, что она хотела этим сказать.

— А я понимаю только часть, — вставил патер Браун. — Что она имела в виду, говоря, что секретарь бунтует по поводу завещания?

Фьенн усмехнулся.

— Жалко, что вы незнакомы с секретарем, патер Браун. Вам доставило бы удовольствие понаблюдать за ним. Он распоряжался на похоронах с шумом и треском, точно на спортивном празднике. Когда стряслось несчастье, ему положительно удержу не было. Я вам уже рассказывал, как он раньше перебивал работу у садовника и поучал стряпчего по части законоведения. Точно так же он учил хирурга хирургии. А так как этим хирургом был доктор Уолентайн, то дело кончилось тем, что он обвинил последнего в преступлении более тяжком, чем неумелая хирургия.

ческая операция. Секретарь вбил себе в свою рыжую голову, что полковника убил доктор, и, когда явилась полиция, он был прямо-таки великолепен. Он тут же на месте превратился в величайшего из детективов-любителей. Никогда ни один Шерлок Холмс так не подавлял Скотланд-Ярда своим титаническим интеллектуальным превосходством, как личный секретарь полковника Дрюса подавлял полицию, производившую дознание. Я вам говорю, это было сплошное удовольствие — смотреть на него! Он бродил взад и вперед, ероша свою рыжую гриву и роняя короткие, нетерпеливые фразы. Именно это поведение так восстановило против него дочь Дрюса. У него, разумеется, была своя теория, из того сорта теорий, какие бывают только в книгах. Флойду самому следовало бы быть в книге. Там он был бы гораздо смешнее и скандалил бы меньше.

— Какая же у него была теория? — спросил священник.

— О, чрезвычайно остроумная, — мрачно ответил Фьенн. — Он заявил, что полковник был еще жив, когда его нашли в беседке на полу и что доктор убил его своим хирургическим инструментом, разрезая на нем платье.

— Ага! — сказал священник. — Полковник, кажется, лежал ничком на полу?

— Доктора спасла быстрая смена событий, — продолжал Фьенн. — Я уверен, что Флойд протолкнул бы свою гениальную теорию в газету, и доктора, пожалуй, арестовали бы, если бы все предположения не разлетелись вдребезги, благодаря самоубийству Гарри Дрюса. И тут мы опять возвращаемся к нача-

лу. Я полагаю, что это самоубийство равносильно признанию. Но подробностей трагедии никто никогда не узнает.

Наступило молчание, а потом священник очень скромно заметил:

— Мне кажется, что я знаю все подробности. Фьенн был ошеломлен.

— Но послушайте, — воскликнул он, — каким образом вы можете знать все подробности? Вы все время находились на расстоянии сотни миль от места происшествия. Или вы уже тогда все знали? Если вы действительно дошли до самого конца, то когда же вы начали? Что дало вам первый толчок?

Патер Браун вскочил на ноги, охваченный необычным для него возбуждением.

— Собака! — воскликнул он. — Собака, разумеется! Вся история была бы у вас на ладони, если бы вы как следует подумали о поведении собаки на берегу!

Фьенн был окончательно сбит с толку.

— Но ведь вы сами говорили, что все мои соображения относительно собаки — суший вздор и что собака не имела к делу никакого касательства.

— Собака имела к делу всяческое касательство, — ответил патер Браун, — и вы поняли бы это, если бы относились к собаке просто, как к собаке, а не как к всемогущему богу, творящему суд над людьми.

Он на мгновение смущенно замолк, потом заговорил вновь извиняющимся тоном:

— Дело в том, что я ужасно люблю собак. И мне кажется, что люди в своем поклонении собакам, в своем увлечении всевозможными суевериями, связанными с собаками, забывают о бедном псе, как о

таковом. Начнем с мелочи — с того, как собака Дрюса лаяла на стряпчего и рычала на секретаря. Вы спрашиваете, как я мог все разгадать, находясь на расстоянии сотни миль от места происшествия. По чести, это — ваша заслуга, потому что вы блестяще охарактеризовали всех действующих лиц трагедии. Человек такого типа, как Трейл, который постоянно хмурится, неожиданно улыбается, играет пальцами и, в особенности, часто подносит их к шее, должен быть нервным, легко смущающимся субъектом. Я не удивился бы, если бы расторопный секретарь Флойд также оказался бы нервным человеком. Иначе он не порезал бы себе пальцев и не уронил бы ножниц, услышав вопли Джэнет Дрюс.

А собаки, надо вам знать, ненавидят нервных людей. Не знаю, отчего это происходит: от того ли, что собака сама нервничает в присутствии такого человека; от того ли, что она, как всякое животное, немножко забияка и фанфарон; от того ли, что собачье тщеславие (а оно колоссально!) бывает задето, когда собака чувствует, что ее не любят, — так или иначе бедняга Нокс ничего не имел против этих людей, кроме того, что они ему не нравились, потому что боялись его. Я знаю, что вы все очень умные люди. Нельзя потешаться над умными людьми. Но порой мне кажется, что вы слишком умны, чтобы понимать животных. Иногда вы бываете слишком умными, чтобы понять человека — в особенности, когда он действует просто, как действуют животные. Животные чрезвычайно непосредственны и просты, они живут в мире трюизмов. Возьмите хоть бы этот случай: собака лает на человека, и человек убегает от

собаки. А вот вы, оказывается, недостаточно просты, чтобы понять: собака лаяла, потому что ей не нравился этот человек, а человек убежал, потому что он боялся собаки. Никаких других мотивов у них не было; да они в них и не нуждались. Но вы обязательно должны усмотреть в этом психологическую тайну и приписать собаке сверхъестественное чутье и превратить ее в орудие рока. Вы обязательно должны предположить, что человек удирал не от собаки, а от палача. А между тем, если вы как следует поразмыслите, то вы поймете, что вся эта глубочайшая психология абсолютно неправдоподобна. Если бы собака действительно могла узнать убийцу своего хозяина, то она не стала бы лаять на него, как на любого незнакомого ей посетителя, гораздо вероятнее, что она бросилась бы на него и вцепилась бы ему в глотку. С другой стороны — неужели вы действительно думаете, что человек достаточно жестокосердный, чтобы убить своего старого друга, а потом выйти с улыбкой на устах к семье убитого и гулять с его дочерью и домашним врачом, — неужели вы думаете, что такой человек убежал бы, гонимый угрызением совести, только потому, что на него залаяла собака? Он, пожалуй, мог бы почувствовать всю трагическую иронию происходящего; эта ирония могла бы даже потрясти его душу, как и всякий иной трагический пустяк. Но он ни в коем случае не бросился бы бежать от единственного свидетеля преступления, который не мог рассказать о том, что он видал. Таким паническим бегством люди спасаются, когда они напуганы не трагической иронией, а собачьими клыками. Все это слишком просто, чтобы вы могли по-

нять. Но вот мы переходим к сцене на берегу — она гораздо интересней. И в вашем изложении она мне показалась гораздо более загадочной. Я не понял, почему собака бросилась в воду и опять вышла на берег. Если бы Нокс был очень взволнован чем-нибудь иным, он, вероятнее всего, вообще не полез бы в воду за палкой. Он побежал бы в том направлении, где ему чудилась катастрофа. Когда собака ищет палку, камень, все что хотите, то ее уже ничего не может оторвать от поисков — разве только резкое приказание, да и то не всегда. Я это говорю на основании опыта. И то, что Нокс вылез на берег, потому что у него переменялось настроение, кажется мне совершенно неправдоподобным.

— Но ведь он все-таки вернулся на берег и при этом без палки!

— Он вернулся на берег без палки по весьма уважительной причине, — ответил священник. — Он вернулся без палки, потому что он не нашел ее. И он завыл, потому что не мог найти ее. Именно по такому поводу собака способна завывать. Собаки — отчаяннейшие приверженцы ритуала. Собаки, как дети, чрезвычайно чувствительны к малейшему нарушению рутины в игре. И вот — что-то было неладно в игре. Собака вылезла на берег и пожаловалась на поведение палки. С ней никогда ничего подобного не случалось. Ни разу в жизни почтенная, всеми уважаемая собака не подвергалась столь унижительному обращению со стороны ничтожной старой палки.

— Что же она сделала такого — эта палка? — спросил Фьенн.

— Она утонула, — ответил патер Браун.

Фьенн ничего не нашелся сказать. Священник продолжал:

— Она утонула потому, что она в действительности была не палкой, а стальным стилетом с острым лезвием в деревянном футляре. Я думаю, еще ни одному убийце не удавалось развязаться с орудием преступления столь странным и вместе с тем столь естественным образом.

— Я вас начинаю понимать, — промолвил Фьенн. — Но если даже орудием преступления и был стилет, спрятанный в палке, то все же — каким образом было совершено это преступление?

— У меня явилось предположение, как только вы произнесли слово «беседка», — сказал патер Браун. — Оно укрепилось, когда вы сказали, что на Дрюсе был белый костюм. Пока все искали короткий кинжал, это никому не могло прийти в голову; но если мы допустим, что полковник был заколот длинным стилетом вроде рапиры, то мое предположение становится правдоподобным.

Он откинулся на спинку кресла, поглядел на потолок и продолжал говорить, как бы возвращаясь к своим первым мыслям и предпосылкам:

— Все эти детективные истории вроде «Тайны Желтой комнаты» и рассказы о людях, найденных убитыми в комнатах, не имевших ни входа, ни выхода, неприменимы к данному убийству, потому что оно было совершено в беседке. Когда мы говорим о Желтой комнате или вообще о комнате, мы подразумеваем компактные, непроницаемые стены. Но беседка строится по иному принципу; в большинстве случаев, как и в данном, ее стенки представляют собой

плетенку из ветвей, прилегающих одна к другой весьма тесно, но тем не менее не составляющих компактную массу; кое-где неминуемо должны остаться щели. И такая щель находилась как раз за спиной Дрюса, сидевшего в кресле у самой стенки. А кресло тоже было не просто креслом, но креслом плетеным, усеянным дырочками, как сито. И, наконец, беседка стояла у самой изгороди. А вы говорили мне, что изгородь была очень тонкая. Человек, стоявший по ту сторону ее, мог без труда различить сквозь ветви, сучья и палки белое пятно — куртку полковника.

Ваши географические данные страдали некоторой неточностью. Но мне было нетрудно помножить два на два. Вы говорили, что Скала Судьбы не особенно высока, но что из сада она прекрасно видна и как бы доминирует над всем пейзажем. Иными словами, она расположена очень близко к концу сада, хотя вам понадобилось много времени, чтобы добраться до нее кружным путем. Джэнет Дрюс едва ли могла издать вопль, слышный на полмили. Она издала самый обыкновенный невольный крик — и все же вы услышали его с берега. Далее, среди прочих интересных деталей, сообщенных вами, мне запомнилось, что Гарри Дрюс, по вашим словам, отстал от вас, чтобы зажечь трубку у изгороди.

Фьенн слегка содрогнулся.

— Вы хотите сказать, что, стоя там, он вынул из своей палки стилет и вонзил его сквозь изгородь в белое пятно? Но подумайте: какой странный выбор места и времени, какой риск! И, кроме того, как он мог быть уверенным, что состояние старика завещано именно ему?

Лицо патера Брауна оживилось.

— Вы неправильно оцениваете характер этого человека, — сказал он таким тоном, словно сам он был знаком с Гарри Дрюсом всю свою жизнь. — Занятый, но не такой уже исключительный тип. Если бы он твердо знал, что деньги перейдут к нему, он — я в этом почти уверен — не убил бы старика. Он счел бы это гнусностью.

— Парадокс, — сказал Фьенн.

— Этот человек был игроком, — продолжал священник. — В отставку он ушел из-за того, что неоднократно поступал вопреки приказу начальства и пускался в самые рискованные дела. Надо вам сказать, что человек его типа особенно легко поддается искушению и совершает какой-нибудь сумасбродный поступок именно потому, что связанный с этим поступком риск будет когда-нибудь впоследствии казаться ему великолепным. Он хотел иметь возможность похвастаться потом: «Никто, кроме меня, не мог воспользоваться этим шансом и сказать себе: теперь или никогда. Как это я тогда замечательно учел все обстоятельства! Дональд в опале, вызван стряпчий, одновременно вызваны Герберт и я. И, в сущности, больше ничего — разве только, что старик улыбнулся и долго жал мне руку. Всякий другой сказал бы, что это сумасшедший риск. Но ведь только так и приобретаются состояния — людьми достаточно безумными, чтобы заглянуть вперед». Мания величия игрока! Чем нелепее совпадение, тем молниеноснее его решение и тем более он уверен, что его час пришел. Глупейшая, тривиальнейшая случайность — белое пятно и щель в изгороди — отравила его, точно видение всех соблаз-

нов мира. Но найдется ли человек, достаточно умный, чтобы учесть это совпадение случайностей, и в то же время достаточно трусливый, чтобы не использовать его? Вот почему голос дьявола внятен душе игрока. Но сам дьявол едва ли стал бы склонять этого несчастного человека пойти, детально все обсудить и пошло, рассчитанно убить старика — дядю, на наследство которого он уже мог рассчитывать. Это было бы слишком респектабельно!

Он замолк на мгновение, потом продолжал со спокойным воодушевлением:

— А теперь попробуйте восстановить эту сцену так, как если бы вы присутствовали при ней. Стоя у изгороди и хмелея от чудовищной возможности, представившейся ему, он случайно поднял голову, увидел странные очертания скалы — символ его собственной колеблющейся души — и вспомнил, что скалу эту зовут Скалой Судьбы. Знаете ли вы, как воспринимает такой человек в такой момент подобное предзнаменование? Я уверен, что вид этой скалы заставил его действовать и в то же время разбудил в нем осмотрительность и осторожность.

Он — тот, кто хочет быть башней, возвышающейся над людьми, — не должен, не смеет быть падающей башней! И он действует, а потом начинает думать, как замести следы? Если его найдут со стилетом, спрятанным в палке, да еще обгаренным кровью, все погребло! А искать орудие убийства, конечно, будут. Если он положит палку куда-нибудь, то ее найдут и пойдут по следам. Даже, если он забросит ее в воду, то это покажется подозрительным. И вот он наконец придумал более естественный способ за-

прятать концы в воду. Способ блестящий, как вам известно. Из вас троих у него одного были при себе часы. Он сказал вам, что домой возвращаться еще рано, вышел на берег и затеял игру с собакой — стал бросать камни и палки в воду. Но с каким отчаянием блуждали, должно быть, его глаза по этому пустынному берегу, прежде чем они остановились на собаке!

Фьенн кивнул, задумчиво глядя в пространство.

— Как это удивительно, — сказал он — что собака, в конце концов, все-таки оказалась замешанной в этом деле.

— Собака могла бы, пожалуй, рассказать вам почти всю эту историю, если бы она умела говорить, — промолвил священник. — Об одном я жалею: из-за того, что она не умеет говорить, вы придумали за нее ее повествование и заставили ее говорить на языке людей. Все это — часть того явления, которое я все чаще наблюдаю в современном мире. Это явление затопляет весь ваш былой рационализм и скептицизм; оно надвигается, как море. И имя ему — суеверие. — Он резко встал и с нахмуренным лицом продолжал свою речь, словно он был один в комнате: — Вы перестаете видеть вещи такими, какие они есть. Всякий, кто обсуждает какое-то явление и говорит, что в этом явлении «что-то есть», превращает его в нечто удручающее, растяжимое, бесконечное, как перспектива аллеи в ночном кошмаре. Собака — предзнаменование, и кошка — тайна, и поросенок — маскотта, и майский жук — скарабей. Вы воскрешаете весь зверинец египетского и древнеиндусского многобожья: собаку Анубиса, и зеленоглазую Пашт, и священных быков Башана. Вы убегаете к богам-

животным доисторических времен, вы ищете защиты у слонов, змей и крокодилов! И это все потому, что вы боитесь простого слова: Человек.

Фьенн встал с кресла несколько смущенный, словно он подслушал чей-то монолог.

Он окликнул собаку и вышел из комнаты, нерешительно и в то же время облегченно попрощавшись со священником. Но ему пришлось окликнуть собаку вторично, потому что она, несмотря на его зов, неподвижно сидела в комнате и пристально глядела на патера Брауна, как некогда волк глядел на Франсиска Ассизского.

IV

Тайна золотого креста

Шесть человек сидело за столиком. Между ними было так мало общего и знакомство их казалось таким случайным, словно они, каждый в отдельности, потерпели кораблекрушение и очутились волею случая на одном и том же необитаемом острове. И в самом деле, их окружало море, потому что их островок (столлик) находился на другом большем острове, напоминавшем летающий остров Лапута. Маленький столлик, за которым они сидели, был одним из многочисленных столиков, расставленных в ресторане гигантского парохода «Моравия», мчавшегося в ночь и вечную пустоту Атлантического океана. Маленькое общество объединено было только тем обстоятельством, что все шесть человек ехали из Америки в Англию. Двое из них были так называемыми «знаменитостями», остальные были люди серые, а в двух случаях даже сомнительные.

Одним из шести был известный археолог, профессор Смейл, знаток и исследователь Византийской империи времен упадка. Лекции, читанные им в одном из американских университетов, считались образцовыми среди самых взыскательных европейских уче-

ных. Его научные труды были полны такой глубокой и сердечной симпатии к прошлому Европы, что многие люди, видевшие и слышавшие его впервые, удивлялись его американскому акценту. Впрочем, он и внешне был типичным американцем; длинные светлые волосы, зачесанные назад с высокого квадратного лба, и крупные прямые черты лица создавали какое-то двойственное впечатление крайней сосредоточенности и потенциальной подвижности — он напоминал льва, глубокомысленно обдумывающего свой ближайший прыжок.

В этой компании была только одна дама — леди Диана Уэйлз, прославленная путешественница по тропическим и иным странам. Несмотря на эту ее профессию, в ней не было ничего грубого, ни мужеподобного. Она была красива какой-то почти тропической красотой; особенно замечательны были ее волосы — густые и темно-красные. Одета она была «смело», как говорят журналисты, но лицо у нее было интеллигентное, а в глазах светился почти вызывающий блеск, который свойствен глазам дам, задающих вопросы ораторам на политических собраниях.

Остальные четверо казались с первого взгляда теньями в блистательном присутствии двух знаменитостей; однако при ближайшем рассмотрении становилось заметным их несходство между собой. Один из них — молодой еще человек — был записан в корабельной книге под именем Поля Т. Таррента. Он представлял собой тот американский тип, который в сущности следовало бы назвать американским «ан-

титипом». По-видимому, у каждого национального типа есть антитип — то самое национальное исключение, которое подтверждает национальное правило. Американцы по-настоящему уважают труд, как европейцы уважают военное ремесло. Труд для них всегда окружен ореолом героизма, и тот, кто избегает его, — не человек и не мужчина. Подобный антитип чрезвычайно редок и потому сразу же бросается в глаза. Он — денди и лодырь, богатый мот, слабовольный негодяй — излюбленный персонаж множества американских романов.

У Поля Т. Таррэнга, казалось, было одно только занятие — менять костюмы, что он и проделывал по шести раз в день, постепенно меняя все нюансы серого цвета от самого светлого до самого темного, подобно сгущающимся сумеркам. В отличие от прочих американцев, он носил короткую курчавую бородку; и в отличие от прочих денди — даже его собственного типа — он казался не легкомысленным, а, напротив того, пасмурным. Было даже что-то байроническое в его сосредоточенной и сумрачной молчаливости.

Далее следовали два человека, которых все невольно ставили рядом, — только потому, что оба они были англичанами, возвращавшимися из лекционного турне по Америке. Один из них, некто Леонард Смайс, был второклассным поэтом и, по-видимому, первоклассным журналистом; длинноголовый, лысоватый, изысканно одетый, он выглядел весьма корректно. Другой казался полной противоположностью ему; он был невысок ростом, толст, носил чер-

ные моржовые усы и был столь же молчалив, сколь болтлив был его компаньон. Но ввиду того, что он недавно обвинялся в похищении некоей румынской принцессы, а засим был прославлен за спасение ее из когтей разъяренного ягуара в принадлежащем ему бродячем зверинце, и, таким образом, фигурировал в великосветском скандале, было совершенно естественно и очевидно, что его взгляды на религию, на прогресс, на свою собственную юность и на будущность англо-американских отношений представляют собой большой интерес для жителей какого-нибудь Миннеаполиса или Омахи.

Шестым и самым незначительным членом этого общества был маленький английский священник по имени Браун. Он прислушивался к беседе своих со товарищей с почтительным вниманием.

— Я полагаю, профессор, — говорил Леонард Смайс, — что ваши труды по истории Византии прольют некоторый свет на происхождение гробницы, найденной на южном побережье Англии, — где-то в окрестностях Брайтона. Разумеется, от Брайтона до Византии очень далеко, но я где-то читал, что тело, найденное в этой гробнице, оказалось набальзамированным и погребенным по византийскому обряду.

— Я думаю, от всего того, что вы рассказываете, до истории Византии, действительно, очень далеко, — сухо ответил профессор. — Для того, чтобы говорить на такие темы, нужно быть специалистом, а специалистом быть очень трудно. Возьмем, к примеру, данный случай. Как можно говорить о Византии,

не изучив предварительно историю Рима, а затем перейдя к истории Ислама? Арабское искусство, например, есть по преимуществу искусство древневизантийское. Возьмем хотя бы алгебру...

— Не надо алгебры! — решительно воскликнула дама. — Я терпеть ее не могу. Зато я ужасно интересуюсь бальзамированием. Я сопровождала Гаттона, когда он производил раскопки вавилонских гробниц. У меня самой есть несколько мумий. Расскажите нам про эту мумию!

— Гаттон был весьма интересный человек, — сказал профессор. — Вся семья Гаттона интересная. Его брат, член парламента, — нечто большее, чем заурядный политикан. Я никогда не понимал сущности фашизма до тех пор, пока он не произнес своей знаменитой речи об Италии.

— Но ведь мы не в Италию едем, — продолжала настаивать леди Диана, — а вы, кажется, направляетесь как раз туда, где была найдена эта гробница, — в Суссекс, если не ошибаюсь.

— Суссекс очень велик, как все английские провинции, — ответил профессор. — По Суссексу можно блуждать без конца. И он того стоит! Прямо удивительно, какими высокими кажутся суссекские холмы, когда взбираешься на их вершины.

Наступило неловкое молчание. Затем леди Диана сказала: «Ну, я иду на палубу» и встала; мужчины последовали ее примеру. Но профессор замешкался, а маленький священник, старательно складывавший свою салфетку, также задержался за столом. Когда

они остались вдвоем, профессор внезапно обратился к священнику:

— Как по-вашему — к чему свелась наша беседа? Патер Браун улыбнулся.

— Мне она показалась довольно смешной. Может быть, я ошибаюсь, но у меня было такое впечатление, будто эти господа трижды пытались вызвать вас на разговор о мумии, найденной, по слухам, в Суссексе. А вы трижды пытались весьма вежливо перевести разговор — сперва на алгебру, потом на фашистов и, наконец, на суссекский пейзаж.

— Короче говоря, — сказал профессор, — вы полагаете, что я был склонен говорить на любую тему, кроме этой. Вы совершенно правы!

Профессор несколько секунд молча созерцал скатерть; потом поднял глаза и произнес с неожиданным жаром:

— Послушайте, патер Браун. Мне кажется, что вы самый мудрый и честный человек, какого я когда-либо встречал.

Патер Браун был типичным англичанином, то есть человеком совершенно беспомощным и не знающим, как реагировать на подобный комплимент, сказанный совершенно серьезно и искренно, с американской прямолинейностью. Он забормотал в ответ что-то бессвязное. Профессор тем временем продолжал все так же серьезно и отрывисто:

— Понимаете, до известной степени все очень просто. В подземелье маленькой церковки на Суссекском побережье найдена средневековая христианская гробница — по-видимому, гробница епископа. Та-

мошный викарий оказался археологом-любителем и выяснил многое такое, чего я еще не знаю. Ходят слухи, что тело оказалось набальзамированным по способу, знакомому грекам и египтянам, но совершенно неизвестному на Западе — в особенности, в те времена. Мистер Уолтерс (так зовут викария), естественно, подумал о византийских влияниях. Но он в своих отчетах упоминает еще кое о чем, что для меня лично представляет еще больший интерес.

Длинное, серьезное лицо профессора стало как бы еще длиннее и серьезнее, когда он склонился над столом. Его длинный указательный палец чертил на скатерти узоры, которые казались планами мертвых городов с их храмами и гробницами.

— Я скажу вам — вам одному! — почему я не хотел говорить на эту тему в случайном обществе. Вы заметили — чем настойчивее они наседали на меня, тем сдержаннее я становился. Дело в том, что в этом гробу нашли цепь с крестом; крест — довольно обыкновенный на вид, но на оборотной стороне его начертан тайный символ, какой можно увидеть только еще на одном кресте во всем мире. Этот символ представляет собой один из тайных знаков самой ранней христианской церкви и, как предполагают некоторые ученые, указывает на то, что апостол Петр, еще до своего переезда в Рим, был епископом в Антиохии. Так или иначе, во всем мире есть еще только один такой крест — и этот второй крест принадлежит мне. Я слышал, что на нем тяготеет какое-то проклятие; но я не обращаю на это внимания. Дело тут не в проклятии, а в том, что против

меня существует заговор. И в этом заговоре участвует только один человек.

— Только один человек? — повторил патер Браун почти машинально.

— Вернее, один сумасшедший, — сказал профессор Смейл. — Это длинная история и притом довольно глупая.

Он опять помолчал, чертя на скатерти архитектурные узоры, потом заговорил снова:

— Лучше будет, если я вам расскажу все с самого начала — быть может, вы найдете в моем повествовании какую-нибудь деталь, значение которой ускользнуло от меня. Началось это много лет тому назад, когда я производил на собственные средства некоторые археологические раскопки на Крите и на островах греческого архипелага. У меня не было помощников; иногда я прибегал к самой элементарной помощи местных жителей, а по большей части работал один в буквальном смысле этого слова. И вот во время этих раскопок мне посчастливилось напасть на целую систему подземных ходов, которые привели меня к куче обломков, поломанных орнаментов, разбитых гемм и прочего; я решил, что это остатки древнего алтаря. И там я нашел мой удивительный золотой крест. Я перевернул его и увидел на оборотной его стороне изображение рыбы — общеизвестный символ раннего христианства, — на вид, однако, совсем непохожий на все виденные мною дотоле подобные изображения. Мне показалось, что эта рыба более реалистична, что древний художник хотел изобразить не только сим-

вол, создать не только условный рисунок, а настоящую рыбу. Мне показалось, что к хвосту рыба несколько суживается и что это не просто орнаментальный мотив, но отзвук какой-то примитивной дикарской зоологии.

Дабы объяснить вам, почему я считал свою находку весьма ценной, я должен рассказать, какие цели преследовали мои раскопки. Я, в сущности, производил раскопки раскопок. Я искал не только древности, но и древних любителей древности. Я имел основание думать (или думал, что имею основание думать), что эти подземные ходы, относящиеся преимущественно к периоду Миноса и отождествляемые со знаменитым лабиринтом Минотавра, отнюдь не остались недоступными и нетронутыми на протяжении веков — от Минотавра до современного исследователя. Я, как и некоторые другие ученые, полагал, что эти подземные ходы — я бы даже сказал, подземные города и села — посещались за это время другими людьми. Относительно того, какие цели преследовали эти средневековые исследователи, существуют различные мнения; одни ученые утверждают, что византийские императоры руководствовались интересами чистой науки, другие — что во времена упадка Римской империи создалась мода на всевозможные суеверия и азиатскую извращенность и что некая секта манихеев предавалась в этих пещерах диким оргиям. Я лично держусь того мнения, что эти пещеры служили тем же целям, что и катакомбы. Я полагаю, что древние христиане скрывались в этих каменных языческих лабиринтах от религиоз-

ных преследований, которые время от времени вспыхивали по всей империи, точно пожары. Вот почему меня охватило величайшее волнение, когда я нашел этот крест и увидел изображенный на нем символ. Радостная дрожь сотрясала меня, когда я шел обратно к дневному свету, оглядывая голые каменные стены, тянувшиеся мимо меня в бесконечность.

И я вновь увидел на этих стенах изображения рыбы — еще более грубые, но еще более реалистичные.

В этих рисунках было нечто такое, что придавало им вид ископаемых рыб, первобытных организмов, навеки застывших в обледенелом море. Я не был в состоянии проанализировать эту аналогию, никак, строго говоря, не связанную с первобытными рисунками на каменной стене, пока я не поймал себя на одной мысли: я подсознательно думал о том, что первые христиане, в сущности, жили, как рыбы, — немые, беззвучнодвигающиеся в затерянном, беззвучном мире сумрака и молчания, глубоко под ногами людей.

Всякий, кому приходится идти по каменному коридору, знает, как морочит путника эхо. Оно то следует за тобой по пятам, то забегает вперед — положительно трудно становится убедить себя в том, что ты совершенно одинок. Я уже привык к причудам эха и не обращал на него внимания, пока не остановился перед новым изображением рыбы, показавшимся мне особенно интересным. Я остановился, и в то же мгновение остановилось мое сердце. Ибо я стоял на месте, а эхо продолжало идти.

Я бросился бежать, а призрачные шаги последовали за мной; однако, они не воспроизводили в точности звука моих шагов. Я опять остановился; остановились и шаги. Но я мог поклясться, что они остановились секундой позже меня. Я крикнул. И услышал ответный крик. То был не мой голос.

Он раздавался из-за поворота прямо передо мной. Когда дикая погоня возобновилась, я заметил, что голос каждый раз раздавался из-за поворота. Узкое пространство передо мной, освещаемое моим карманным электрическим фонарем, было все время абсолютно пусто. Таким образом, я говорил с невидимым собеседником, и разговор этот длился до тех пор, пока я не увидел мерцания солнечного света. Но и тогда мне не удалось установить, куда делся мой собеседник. Впрочем, все устье лабиринта было в расселинах, щелях и пещерах, так что ему, вероятно, нетрудно было нырнуть в одну из них и исчезнуть в подземном царстве. Я знал только, что, выйдя из лабиринта, я очутился на склоне высокого холма, походившего на мраморную террасу. Однообразие его нарушалось лишь зеленой растительностью, которая напомнила мне своим буйным цветением нашествие восточного духа, воцарившегося на развалинах классической Эллады. Передо мной расстилалось безмятежно синее море, и солнце лило свои лучи на безмолвную пустыню. Ни одна травинка не колыхалась; кругом не было видно тени.

То была ужасная беседа. Такая откровенная, такая индивидуальная и такая, в сущности, случайная! Это существо, бестелесное, безликое, безымянное, но

называвшее меня по имени, говорило со мной в этом хаосе расселин и криптов, в котором мы были похоронены заживо, так бесстрашно и так просто, как если бы мы сидели в клубных креслах. Этот человек сказал мне, что он убьет меня и всякого, кто завладеет золотым крестом с изображением рыбы. Он сказал мне откровенно, что он не так глуп, чтобы атаковать меня в лабиринте; он-де знает, что я ношу при себе заряженный револьвер и что он подвергается не меньшему риску, чем я. Он сказал мне, все так же спокойно, что он тщательно подготовил план моего убийства, что он учтет все случайности и обеспечит себе успех с выскательностью истинного художника, что он разработает все детали, подобно китайскому токарю или индийскому ткачу, вкладывающему в свой труд всю душу. Но он не был восточным человеком.

Я уверен, что он был белым. Мне даже кажется, что он был моим соотечественником.

С тех пор я время от времени получаю дикие послания, которые убеждают меня в том, что этот человек — мономан. Он постоянно твердит мне все в тех же простых и сдержанных выражениях, что приготовления к моему убийству и похоронам протекают удовлетворительно и что единственная представляющаяся мне возможность избежать благополучного завершения этих приготовлений — это отказать от золотого креста, который я нашел в подземной пещере. По-видимому, он не фанатик и не одержим никакой религиозной манией. У него нет никаких страстей, кроме одной — страсти коллекционера.

И это подкрепляет мою уверенность в том, что он человек Запада, а не Востока. Его бешеная страсть свела его с ума.

И вот теперь пришло известие, что в Суссексе найден дубликат моего креста. Если до сих пор он был маньяком, то это известие превратило его в демона, одержимого семью бесами. Достаточно тяжело было для него уже то, что крест принадлежит не ему; а теперь появился второй крест, и он тоже не в его руках! Какая мука! Его сумасшедшие послания посыпались на меня, точно дождь отравленных стрел. И в каждом послании он сообщал мне со все возрастающей откровенностью, что смерть настигнет меня в тот самый миг, когда я протяну мою недостойную руку к кресту, найденному в гробнице.

«Вы никогда не узнаете, кто я, — пишет он мне. — Вы никогда не произнесете моего имени. Вы никогда не увидите моего лица. Вы умрете и никогда не узнаете, кто убил вас. Я могу быть подле вас под любой личиной. Но лица моего вы не увидите никогда».

Из всего этого я заключаю, что он все время следит за мной и пытается украсть крест или же убить меня. Но так как я никогда в жизни не видал его, то он может быть любым встречным. Рассуждая логически, он может быть лакеем, подающим мне обед. Он может быть пассажиром, сидящим со мной за одним столом.

— Он может быть я, — сказал патер Браун, легкомысленно пренебрегая элементарными правилами грамматики.

— Кто угодно, только не вы, — серьезно ответил Смейл. — Вот почему я сказал вам тот комплимент. Вы — единственный человек, в котором я уверен.

Патер Браун опять смутился.

— Да, как ни странно, это не я, — улыбнулся он. — Мы, прежде всего, должны постараться выяснить, действительно ли он тут, покуда — покуда он не успел причинить вам какую-нибудь неприятность.

— Есть только одна возможность выяснить это, — мрачно заметил профессор. — Когда мы прибудем в Саутхэмптон, я найму автомобиль и поеду по побережью. Я буду очень рад, если вы поедете со мной, но всю остальную компанию придется бросить. Если мы встретим кого-нибудь из наших спутников в Суссексе, в той маленькой церкви, то мы будем знать, кто мой таинственный враг.

Программа профессора была выполнена в точности — по крайней мере, в отношении автомобиля и его второго пассажира, патера Брауна. Они двинулись вниз по побережью; с одной стороны их дороги было море, с другой — холмы Хэмпшира и Суссекса. Они не заметили никаких следов погони. Когда они подъезжали к Дулхэму, им встретился только один человек, имевший косвенное касательство к цели их поездки, — журналист, посетивший место раскопок, которое ему предупредительно продемонстрировал местный викарий. Но все наблюдения и замечания этого журналиста носили ярко выраженный характер газетной болтовни. Однако, профессор Смейл проявил некоторую подозрительность и не мог скрыть неприятного впечатления, произведенного на

него наружностью и поведением журналиста, — худого обтрепанного человека с горбатым носом, глубоко сидящими глазами и уныло свисающими усами. Он, по-видимому, был весьма мало воодушевлен своей ролью туриста и любителя древностей; когда путешественники задали ему какой-то вопрос, он явно попытался уклониться от ответа.

— Над гробницей как будто бы тяготеет какое-то проклятье, — сказал он, — по словам путеводителя, священника или местных старожилов, — я уж не знаю, кто из них по этой части авторитет. Я готов с ним согласиться. Проклятие или не проклятие, а я от души рад, что выбрался оттуда.

— А вы верите в проклятия? — любопытно спросил Смейл.

— Я ни во что не верю; я — журналист, — ответил меланхолический путник. — Меня зовут Бун, и я работаю в «Дейли Телеграф». Но в этом подземелье есть что-то жуткое. Не скрою от вас, что у меня там бегали по спине мурашки. — И, ускорив шаг, он направился к железнодорожной станции.

— Он похож не то на ворону, не то на галку, этот парень, — заметил Смейл, когда они свернули к церкви. — Кажется, птица считается дурным предзнаменованием?

Они медленно прошли церковную ограду. Взор археолога с явным удовольствием блуждал по крыше одинокой церковки и по мрачным купам айвовых деревьев, которые казались олицетворением ночи, борющейся с дневным светом. Тропинка извивалась между двумя зелеными уступами, на которых в бес-

порядке были разбросаны могильные плиты, точно каменные отмели, торчащие из зеленой воды. Она привела их к самому морю, которое тянулось, точно серая чугунная ограда, кое-где отсвечивающая бледной сталью. Густая трава внезапно сменилась желтовато-серым песком. А на песке, четко вырисовываясь на фоне стального моря, маячила неподвижная фигура. Благодаря серому костюму, облекавшему ее, она напоминала надгробный памятник. Но патеру Брауну сразу же почудилось что-то знакомое в этой элегантной линии плеч и в торчащей сверху бородачке.

— Смотрите-ка! — воскликнул профессор. — Ведь это же Таррэнт. Мог ли я думать, рассказывая вам на пароходе свою историю, что я так скоро получу ответ на мучающий меня вопрос?

— Кажется, вы получите на него слишком много ответов, — ответил патер Браун.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил профессор, оглядываясь на него через плечо.

— Я хочу сказать, что за айвами слышатся голоса, — мягко ответил священник. — Мистер Таррэнт не так одинок, как кажется. Я бы даже сказал: не так одинок, как он любит казаться.

Не успел Таррэнт повернуться в их сторону, как женский голос, послышавшийся внезапно из-за айвовых деревьев, подтвердил слова Брауна.

— Откуда же я знала, что он будет здесь? — произнес этот голос.

Было совершенно очевидно, что замечание это относится не к профессору Смейлу; поэтому последне-

му осталось только констатировать, что тут есть еще кто-то третий. И, когда леди Диана Уэйлз, сияющая и решительная, как всегда, вышла из-за дерева, он с величайшим неудовольствием заметил, что ее сопровождает живая тень — длинная, фатовская фигура Леонарда Смайса, который широко улыбался, склонив голову набок, на манер собаки.

— Черт побери! — пробормотал Смейл. — Они все тут. Все, кроме того антрепренера с моржовыми усами!

Он услышал за своей спиной тихий смех патера Брауна. И, действительно, было над чем смеяться. Казалось, что тут разыгрывается какая-то шутовская пантомима. Ибо не успел профессор договорить, как его последняя фраза уже была опровергнута самым комическим образом. Круглая голова с черным нелепым полумесяцем усов появилась внезапно, словно из отверстия в земле. Секундой позже выяснилось, что это отверстие было самой настоящей дырой и притом весьма большой. Она была входом в некое подобие колодца, ведущего куда-то в глубь земли — к тому самому месту, ради которого они все сюда приехали. Маленький человечек первый нашел этот вход и, уже спустившись на несколько ступеней, вынырнул обратно, чтобы приветствовать своих товарищей по путешествию. Он был похож на какого-то особенно противного могильщика из пародийного «Гамлета».

— Сюда вниз, — это было все, что он сказал сквозь заросли своих усов. И тотчас же все остальные с некоторым удивлением отметили, что они едва ли не

впервые слышат голос этого человека, несмотря на то, что он в течение целой недели обедал с ними за одним столом; и еще — что он говорит с каким-то странным восточным акцентом, хоть он и выдавал себя все время за чистокровного англичанина.

— Понимаете, дорогой профессор, — весело воскликнула леди Диана, — ваша византийская мумия ужасно заинтересовала меня! Я просто не могла не поехать посмотреть на нее. И я уверена, что эти господа испытывали то же самое желание. Теперь вы должны рассказать нам о ней подробно.

— Я не знаю никаких подробностей, — мрачно ответил профессор. — В сущности, я вообще о ней ничего не знаю. Конечно, это очень странно, что все мы так скоро встретились. Но, как видно, любознательность наших современников не имеет границ. И если уже мы все решили осмотреть гробницу, то это следует сделать организованно и — простите меня — под чьим-нибудь авторитетным руководством. Надо узнать, кто ведает раскопками; по всей вероятности, нам также придется расписаться в книге посетителей.

Столкновение двух стихий — нетерпения леди Дианы и подозрительности археолога — грозило закончиться ссорой. Но в конце концов профессор, ссылавшийся на официальные права местного викария — руководителя раскопок, одержал верх. Усатый человек весьма неохотно вылез из подземного хода и молча присоединился к остальной компании, приготовившейся спуститься вниз менее стремительно. К счастью, вскоре появился и сам викарий — седо-

власый, почтенного вида джентльмен в двойных очках. Между ним и профессором сразу же возникла взаимная симпатия на почве общих интересов. К прочей, довольно-таки пестрой компании он отнесся также вполне дружелюбно, но не без оттенка насмешливости.

— Надеюсь, среди вас нет суеверных людей, — сказал он любезно. — Я считаю своим долгом предупредить вас, что с этим местом связано множество легенд, предзнаменований и пророчеств, сулящих вам всяческие беды. Кстати я только что расшифровал латинскую надпись над входом в часовню; она, как оказывается, содержит в себе не менее трех проклятий: проклятие тому, кто войдет в гробницу, второе проклятие — тому, кто вскроет гроб, а третье — самое страшное — тому, кто дотронется до золотого креста, находящегося в гробу. Я лично нарушил уже первые два запрета, — добавил он с улыбкой, — и я боюсь, что вам также придется нарушить хотя бы один из них, если вы хотите что-нибудь увидеть. Согласно преданию, проклятия эти осуществляются значительно позднее и самыми разнообразными путями. Не думаю, чтобы это могло послужить вам утешением.

И преподобный мистер Уолтерс улыбнулся своей усталой, доброжелательной улыбкой.

— Предание? — спросил профессор Смейл. — Какое предание?

— Это длинная история, имеющая много вариантов, как и все местные легенды, — ответил викарий. — Во всяком случае, она относится к той же

эпохе, что и сама гробница. Содержание ее вкратце передано в надписи над входом в часовню и в общих чертах сводится к следующему: лорду Гюи де Гизору, феодалу, властвовавшему здесь в начале тринадцатого столетия, полюбился чудесный вороной конь, принадлежавший генуэзскому послу. Сей последний синьор, отличавшийся коммерческими наклонностями, требовал за коня огромные деньги. Гюи де Гизор, человек чрезвычайно скупой, не остановился перед святотатством: он разграбил местную церковь и, как говорит предание, убил епископа. Перед смертью епископ произнес проклятие всякому, кто осмелится прикоснуться к золотому епископскому кресту, который он завещал положить с ним в гроб. Гюи де Гизор вскоре выручил деньги, необходимые ему для покупки коня, путем продажи этого креста некоему золотых дел мастеру, проживавшему в городе. Но как только он сел верхом на коня, тот взвился на дыбы и сбросил лорда наземь у порога церкви. Лорд сломал себе шею и тут же скончался. Вскоре золотых дел мастер, дотоле богатый и преуспевавший во всех своих предприятиях, был разорен целым рядом необъяснимых неудач и попал в лапы ростовщика-еврея; видя перед собой голодную смерть, золотых дел мастер повесился на яблоне. Золотой крест, как и все прочее его имущество — дом, мастерская, все орудия его ремесла, — давно уже перешли в руки ростовщика. Тем временем сын и наследник лорда Гюи де Гизора, потрясенный страшной кончиной своего отца-святотатца, постепенно превратился в религиозно-

го изувера, какие только и могли существовать в те темные и жестокие времена. Он поставил себе жизненной целью искоренение всяческой ереси и неверия среди своих вассалов. И в результате еврей-ростовщик, которого терпел циник отец, был сожжен на костре по приказанию сына-изувера. Таким образом и на него распространилось проклятье. Засим крест был вновь положен в гроб епископа, и с тех пор к нему не прикасалась человеческая рука.

Леди Диана Уэйлз была, по-видимому, потрясена рассказом викария.

— Правда, даже страшно подумать, что мы первые после вас увидим его! — воскликнула она.

Усатому человеку, говорившему на ломаном английском языке, так и не удалось спуститься в гробницу по облюбванной им лестнице, которой, видимо, пользовались только рабочие, производившие раскопки, ибо викарий повел их к другому, более удобному, входу в подземелье, откуда сам он только что вынырнул. Второй вход находился на расстоянии сотни ярдов от первого и представлял собой узкий коридор, полого спускавшийся к центру подземелья. Идти им было бы вполне удобно, если бы не сгущающийся мрак. Вскоре путники оказались в абсолютной тьме; они шли гуськом по туннелю, напомиравшему колодец. Прошло несколько минут прежде, чем они увидели впереди слабый свет. Во время этого молчаливого шествия из чьей-то груди вырвался вздох; потом раздалось глухое проклятье. И проклятье это было произнесено на каком-то неизвестном языке.

Они вошли в круглую комнату, охваченную, подобно базилике, кольцом круглых сводов. Ибо эта часовня была выстроена задолго до того, как готика, точно копьем, пронзила первым своим стрельчатым сводом нашу цивилизацию. Зеленоватое мерцание между колоннами указывало место, где находился второй выход в надземный мир. Создавалось впечатление, будто находишься на дне морском, и впечатление это усиливалось одним-двумя случайными совпадениями. Ибо по сводам тянулся древнорманский зубчатый орнамент, который придавал им в полумраке вид раскрытых акульих пастьей, а находившийся в центре комнаты гроб с приподнятой каменной крышкой напоминал разверстые челюсти некоего левиафана.

То ли в силу своих эстетических наклонностей, то ли за неимением более современных приспособлений, викарий-археолог освещал часовню только четырьмя высокими свечами в деревянных канделябрах, стоявших на полу. Лишь одна из них была зажжена, когда посетители вошли в часовню, и бросала слабый свет на мощные архитектурные формы гробницы. Когда все общество собралось, викарий зажег остальные три свечи, и тогда стали явственно видны все детали, а также содержимое огромного саркофага.

Взоры всех присутствующих устремились на лицо покойника, сохранившее все черты, свойственные ему при жизни, благодаря искусству восточных бальзамировщиков, унаследовавших, согласно пре-

данию, тайну своего ремесла от мастеров языческой древности. Профессор с трудом подавил удивленное восклицание. Ибо лицо это, хоть и бледное, как восковая маска, во всех других отношениях напоминало лицом спящего человека, только что сомкнувшего глаза. Худое и костистое, оно было лицом аскета, а может быть, даже лицом фанатика. На покойнике было пышное облачение, а на груди его у самой шеи на короткой золотой цепи или, вернее, на золотых четках сверкал знаменитый золотой крест. Каменная крышка гроба, приподнятая над головой покойника, поддерживалась деревянной подпоркой, упиравшейся нижним концом в край гроба.

Поэтому нижняя часть тела и ноги были видны значительно хуже; зато лицо было освещено прекрасно. И, как бы подчеркивая мертвенную бледность этого лица, золотой крест сверкал и искрился, точно живое пламя.

Глубокая складка раздумья, а может быть, и беспокойства бороздила высокий лоб профессора Смейла с того самого момента, как викарий рассказал историю золотого креста. Но женщина, со свойственной ей интуицией, в которой не было ни капли женской истерии, лучше, чем стоящие кругом, поняла значение его вялой неподвижности. В молчании освещенного свечами подземелья леди Диана внезапно крикнула:

— Не прикасайтесь к кресту!

Но профессор уже сделал быстрое, одному ему свойственное движение и склонился над телом.

В следующее же мгновение все присутствующие прыгнули в разные стороны, съжившись и вобрав голову в плечи, словно на них упало небо.

Как только профессор прикоснулся к кресту, деревянная подпорка, поддерживавшая каменную плиту и слегка согнувшаяся под ее тяжестью, подпрыгнула и выпрямилась, как от толчка. Край каменной плиты соскользнул с нее. И в сердцах, и в желудках всех присутствующих появилось томительное ощущение падения, словно все они проваливались в какую-то пропасть. Смейл быстро откинул назад голову, но было уже поздно. Он повалился к подножью гроба и остался лежать неподвижно, в луже крови. А древний каменный гроб уже стоял, снова закрытый наглухо, как стоял много столетий.

Только обломки деревянной подпорки торчали из-под каменной его крышки, напоминая размолотые клыками людоеда кости. Левиафан сомкнул свои каменные челюсти.

Леди Диана смотрела на распростертое тело глазами, в которых вспыхивали электрические искры сумасшествия. В зеленоватом сумраке ее рыжие волосы над бледным лицом казались пурпурными. Леонард Смайс глядел на нее, и в наклоне его головы все еще было что-то собачье; то был наклон головы собаки, которая смотрит на своего хозяина и лишь частично понимает случившееся с ним несчастье. Таррэнт и человечек с черными усами застыли в своих обычных сумрачных позах, но лица их были желты, как глина. Викарий был, по-видимому, в полуобморочном состоянии. Патер Браун стоял на коленях

подле тела и пытался выяснить положение профессора.

Ко всеобщему удивлению, байронический мечтатель Поль Таррэнт первый пришел к нему на помощь.

— Надо вынести его на чистый воздух, — сказал он. — Мне кажется, что его еще удастся спасти.

— Он жив, — тихо ответил патер Браун, — но дела его, по-видимому, плохи. Вы, часом, не доктор?

— Нет, но я многое перевидал на своем веку, — сказал тот. — Впрочем, сейчас дело не во мне. Моя истинная профессия, пожалуй, была бы для вас сюрпризом.

— Не думаю, — ответил патер Браун с легкой улыбкой. — Я еще на пароходе догадался, кто вы такой. Вы — сыщик, отслеживающий кого-то. Можете успокоиться — теперь крест в безопасности.

Пока они разговаривали, Таррэнт очень осторожно и без видимого усилия поднял бесчувственное тело и понес его к выходу. Он бросил через плечо:

— Да, крест-то в безопасности.

— Зато мы не в безопасности — вы это хотите сказать? — спросил патер Браун. — Вы тоже верите в проклятье?

В течение следующих двух часов патер Браун находился в каком-то странно-подавленном и задумчивом состоянии, которое, видимо, не было следствием трагического происшествия. Он помог перенести профессора в маленькую харчевню напротив церкви, поговорил с доктором, который признал рану опасной и угрожающей жизни, но не смертельной, и сообщил диагноз доктора прочим путешественникам,

собравшимся за столом в зале харчевни. Но, что бы он ни делал, недоуменное выражение не сходило с его лица. Ибо центральная тайна становилась все более загадочной по мере того, как разъяснились в его уме второстепенные тайны. И по мере того, как выяснялись мотивы, по которым приехали сюда отдельные члены этого пестрого общества, самая катастрофа казалась все более и более необъяснимой. Леонард Смайс попросту последовал за леди Дианой; а леди Диана приехала сюда просто потому, что ей так захотелось. Они были увлечены одним из тех поверхностных светских флиртов, которые кажутся особенно глупыми благодаря тому, что претендуют на какую-то интеллектуальность.

Но романтическая дама была к тому же еще и суеверна; трагический конец приключения произвел на нее самое тяжелое впечатление. Поль Таррэнт был частным сыщиком. Он, по-видимому, выслеживал флиртующую парочку по поручению мужа или жены, а может быть, шпионил за усатым господином, который имел вид подозрительного иностранца. Но если сей последний или кто-либо другой и пытался украсть крест, то попытка эта кончилась полной неудачей. И, совершенно очевидно, этой попытке воспрепятствовало не случайное, хоть и весьма редкостное совпадение, и не проклятие, тяготеющее над крестом, а нечто совсем другое.

Стоя в глубокой задумчивости посередине проселочной дороги между харчевней и церковью, па-тер Браун, к великому своему удивлению, увидал

знакомую, но все же весьма неожиданную фигуру, направлявшуюся к нему. Мистер Бун, журналист, имел чрезвычайно жалкий вид; яркое солнце заливало безжалостным светом его потрепанное платье, придававшее ему вид вороньего пугала. Его темные, глубоко сидящие глаза были устремлены прямо на патера Брауна. Последний взглянул на него дважды, прежде чем убедился, что под густыми усами журналиста играет мрачная и даже злобная усмешка.

— Я думал, что вы уехали, — сказал патер Браун довольно резко. — Поезд ушел два часа тому назад.

— Как видите, я не уехал, — сказал Бун.

— Почему же вы остались? — спросил священник почти грозно.

— Стоит ли так поспешно покидать этот рай земной? — ответил журналист. — Тут творятся такие замечательные вещи, что, право, не имеет смысла возвращаться в скучный, пошлый Лондон. Кроме того, без меня в этом деле все равно не обойдутся — я имею в виду второе дело. Ведь я нашел тело или, по крайней мере, одежду. Я вел себя весьма подозрительно, не правда ли? Может быть, вы думаете, что я хотел переодеться в его платье. А разве из меня вышел бы плохой священник?

Стоя посередине базарной площади, длинноносый шут внезапно простер к патеру Брауну руки в черных перчатках, пародируя жест священника, благословляющего паству, и произнес:

— Дорогие братья и сестры, придите в мои объятия...

— Что вы там болтаете! — воскликнул патер Браун, постукивая по камням своим зонтиком. Сегодня он, положительно, был менее терпелив, чем обычно.

— О, вы все узнаете, — стоит вам только порасспросить вашу компанию в харчевне, — огрызнулся Бун. — Этот парень — Таррэнт, что ли, — подозревает меня только потому, что я нашел платье. А ведь сам он пришел всего минутой позднее меня. Маленький человечек с черными усиками выглядит тоже довольно подозрительно. Если уже на то пошло, то ведь и вы тоже могли убить бедного малого.

Патер Браун, казалось, нимало не был задет этим предположением. Он был просто удивлен и несколько взволнован.

— Вы хотите сказать, что я покушался на убийство профессора Смейла? — просто спросил он.

— Ничего подобного! — замахал тот руками. — Тут достаточно трупов — можете выбирать любой. Зачем же ограничиваться профессором? Позвольте... Разве вы не знаете, что нашелся человек гораздо более мертвый, чем профессор Смейл? И я, собственно, не вижу, почему бы именно вы не могли прикончить его тихо и спокойно. Религиозные разногласия, знаете ли... Давнишний, достойный всяческого сожаления раскол в лоне христианской церкви... Вы ведь, кажется, стремитесь опять прибрать к рукам английскую паству?

— Я иду в харчевню, — спокойно сказал священник. — Там мне все объяснят толком.

И, действительно, вскоре после этого разговора он узнал новость, которая дала новую пищу его раз-

мышлениям. Как только он вошел в небольшую залу, где находились все его товарищи по путешествию, растерянное выражение их бледных лиц сказало ему, что случилось нечто еще более страшное, чем несчастье с профессором. Входя, он услышал слова Леонарда Смайса:

— Когда же все это кончится?

— Никогда это не кончится, говорю я вам, — ответила леди Диана, глядя в пространство остекленеными глазами, — пока мы все не кончимся. Проклятие настигнет нас одного за другим — может быть, и не сразу, как предупреждал несчастный викарий. Но рано или поздно мы погибнем, как погиб он.

— Ради бога, что еще случилось? — спросил пастер Браун.

Наступило молчание, а потом Таррэнт глухо сказал:

— Викарий Уолтерс покончил с собой. Я думаю, его толкнуло на самоубийство испытанное им потрясение. Сомнений быть не может: мы нашли его шляпу и сюртук на прибрежных скалах. Он, очевидно, бросился в море. История с профессором, видимо, подействовала на его рассудок. Нам следовало бы присмотреть за ним. Но ведь вы знаете, у нас и без того было достаточно забот.

— Мы все равно ничего не могли бы предотвратить, — сказала леди Диана. — Неужели вы не понимаете, что пророчество сбывается? Профессор прикоснулся к кресту и был наказан. Викарий открыл саркофаг и погиб вслед за ним. Мы только вошли в часовню и...

— Остановитесь! — сказал патер Браун резким тоном, к которому он прибегал чрезвычайно редко. — Хватит!

Его лицо все еще было нахмурено, но недоумение светившееся дотопе в его глазах, исчезло.

— Какой же я дурак! — пробормотал он. — Мне давно уже следовало все понять. Рассказ о проклятии должен был все разъяснить!

— Вы хотите сказать, — перебил его Таррэнт, — что мы действительно можем погибнуть из-за какой-то истории, случившейся в тринадцатом столетии?

Патер Браун покачал головой и спокойно ответил:

— Я не стану обсуждать вопрос: можем ли мы погибнуть из-за истории, случившейся в тринадцатом столетии. В одном я твердо уверен: мы никак не можем погибнуть из-за истории, которая не случилась в тринадцатом столетии, — из-за истории, которая вообще никогда не случалась.

— Что ж, — промолвил Таррэнт, — очень приятно видеть столь скептически настроенного священника, не верящего в сверхъестественные силы.

— Вовсе нет, — спокойно ответил священник, — я сомневаюсь не в сверхъестественной части этой истории, я сомневаюсь в ее естественной части. Я нахожусь в таком же точно положении, как тот мудрец, который сказал: «Я могу поверить в невозможное, но не в неправдоподобное».

— Это, кажется, называется у вас парадоксом? — спросил Таррэнт.

— У меня это называется здравым смыслом, — ответил патер Браун. — По-моему, гораздо естественнее верить во что-нибудь сверхъестественное, чего мы не понимаем, чем в естественное, но противоречащее тому, что мы понимаем. Скажите мне, что покойного мистера Гладстона перед смертью преследовал призрак Парнелла, и я поверю вам. Но попробуйте рассказать мне, что мистер Гладстон, впервые явившись на прием к королеве Виктории, вошел к ней в гостиную в шляпе, хлопнул ее по спине и предложил ей сигару, — и я вам не поверю. Это не невозможно; это всего лишь невероятно. И, тем не менее, скорее призрак Парнелла являлся Гладстону, чем Гладстон вел себя столь недостойно в гостиной королевы Виктории. Точно так же обстоит дело и с этим проклятием. Не в легенду отказываюсь я верить, а в историю.

Леди Диана тем временем вышла из состояния столбняка, и свойственное ей жадное любопытство ко всему новому опять засветилось в ее глазах.

— Занятный вы человек! — сказала она. — Почему вы не верите в историю?

— Я не верю в историю, потому что это не история, — ответил патер Браун. — Всякому, кто хоть чуточку знаком со средневековьем, весь рассказ викария должен показаться столь же неправдоподобным, как рассказ о Гладстоне, предлагающем королеве Виктории сигару. Но кто из вас знаком с историей средневековья? Что вы знаете о средневековых гильдиях? Слышали ли вы о *salvo panagio suo*? Знаете ли вы, кто такие были *servi regis*?

— Конечно, не знаю, — отрезала леди Диана. Сколько латинских слов!

— Конечно, не знаете! — подхватил патер Браун. — Если бы речь шла о Тутанхамоне и египетских мумиях на том краю света; если бы речь шла о Вавилоне или Китае; если бы речь шла о каком-нибудь неведомом народе — о жителях луны, что ли, — то ваши газеты сообщили бы вам все подробности, вплоть до того, как была найдена какая-нибудь зубная щетка или запонки для воротника. Но тут фигурируют люди, выстроившие ваши дома, давшие имена вашим городам, улицам, по которым вы ходите. А ведь вам, разумеется, никогда не приходило в голову поинтересоваться ими. Я не говорю, что сам знаю бог весть как много. Но я знаю достаточно, чтобы с уверенностью сказать: вся эта история — чушь и вранье с начала до конца. Закон не допустил бы ростовщика завладеть домом и имуществом несостоятельного должника. Совершенно невероятно, чтобы гильдия не спасла своего сочлена от окончательного разорения. У этих людей было много недостатков, порой они были жестоки. Но образ человека, потерявшего веру в своих ближних и кончающего с собой, потому что никому нет дела до него и до его жизни, — не средневековый образ. Это продукт нашего мышления. Дальше: еврей никак не мог быть вассалом феодального лорда. Евреи обычно занимали различные специальные должности при особе короля. Кроме того, евреи сжигались на костре за что угодно, только не за свои религиозные убеждения. Короче говоря, вся эта история неправдоподобна. Это не средневековая

история и не средневековая легенда. Она придумана человеком, чьи познания почерпнуты из газет и романов. И притом придумана тут же на месте, наспех, экспромтом.

Слушатели были несколько удивлены этим историческим экскурсом патера Брауна и, видимо, недоумевали, почему он придает такое большое значение столь незначительным, казалось бы, деталям. Однако Таррэнт, чьим ремеслом было именно вылавливание таких деталей, внезапно оживился. Его воинственная борода вздернулась еще выше, а в широко раскрытых глазах зажегся огонек.

— Ага! — сказал он. — Вы говорите: она придумана экспромтом?

— Быть может, я несколько преувеличиваю, — ответил патер Браун. — Правильней было бы сказать, что она разработана гораздо поверхностней и небрежней, чем все остальные детали этого необыкновенно тщательно подготовленного преступления. Впрочем, этот человек не предполагал, что кто-нибудь заинтересуется подробностями средневековой истории. И расчет его был в общем совершенно правилен, как и все прочие его расчеты.

— Какие расчеты? Какой человек? — с внезапным нетерпением спросила леди Диана. — О ком вы говорите?

— Я говорю об убийце, — сказал патер Браун.

— О каком убийце? — резко спросила леди Диана. — Вы хотите сказать, что профессора убили?

— Позвольте, — вмешался Таррэнт, — как можно говорить об убийстве, когда профессор жив?

— Убийца убил не профессора Смейла, а кое-кого другого, — тихо сказал священник.

— Кого же он еще мог убить? — спросил Таррэнт.

— Он убил преподобного Джона Уолтерса, Дулхэмского викария, — ответил патер Браун. — Ему нужно было убить только профессора и викария, потому что они были обладателями двух одинаковых, весьма редких реликвий, на которых этот маньяк был помешан.

— Все это звучит очень странно, — пролепетал Таррэнт. — Разве можно с уверенностью сказать, что викарий убит? Мы не видали его труп.

— Вы видели его, — сказал патер Браун. Наступило молчание, неожиданное как удар гонга; молчание, в котором женская интуиция работала так лихорадочно быстро и точно, что леди Диана чуть не вскрикнула.

— Вы видели его, — повторил священник. — Вы не видели живого викария, но вы видели его труп. Вы видели его очень хорошо. Вы смотрели на него при свете четырех свечей. Не на дне моря лежал он перед вами, а в часовне, построенной во времена крестовых походов, в пышном облачении князя церкви.

— Короче говоря, — прервал его Таррэнт, — вы хотите заставить нас поверить, что набальзамированное тело епископа было в действительности трупом убитого викария?

Патер Браун несколько секунд молчал; потом он заговорил вновь, как бы отвечая на свои собственные мысли:

— Прежде всего я обратил внимание на крест, — вернее, на цепь, на которой висел крест. Разумеется, для всех вас эта цепь была просто цепью или четками, но для меня, естественно, дело обстояло не так просто. Ведь я гораздо опытнее вас в этой области. Если вы вспомните, крест находился почти под самым подбородком покойника; видно было только несколько зерен четок — так, словно четки были очень коротки. Те зерна, что были видны, были низаны в особенном порядке: сначала одно, потом три рядом, потом опять одно и так далее. Но обычно в четках эта комбинация повторяется не меньше десяти раз; и я сразу спросил себя, куда же делись остальные зерна. Четки должны были обвивать шею покойника несколько раз. Тогда я не нашел ответа на этот вопрос; только впоследствии я догадался, куда делось продолжение четок. Этим продолжением была обмотана деревянная подпорка, поддерживавшая каменную крышку гроба над головой покойника. И, когда бедняга Смейл потянул к себе крест, четки дернули подпорку, подпорка соскочила с места, и крышка обрушилась на голову Смейла.

— Клянусь богом, мне начинает казаться, что вы правы, — сказал Таррэнт. — Невероятная история, если только все произошло так, как вы говорите!

— Когда я выяснил это, — продолжал патер Браун, — мне уже не трудно было разгадать остальное. Вспомните прежде всего, что эти раскопки ни разу не посещал настоящий археолог-специалист. Бедняга Уолтерс был скромным археологом-любителем; он вскрыл гробницу только для того, чтобы

выяснить, соответствует ли истине легенда о набальзамированных мумиях. Все остальное было из области слухов, которые столь часто опережают, либо раздувают результаты подобных раскопок. И ему удалось установить, что тело набальзамировано не было и истлело давным-давно. Но, пока он работал в подземной часовне, рядом с его тенью, пляшущей в зыбком свете единственной свечи, выросла еще одна тень.

— А! — задыхаясь, воскликнула леди Диана. — Теперь я понимаю! Вы хотите сказать, что мы встретили убийцу, болтали и шутили с ним, слушали его романтические рассказы и дали ему улизнуть...

— И оставить на скале платье священника, — закончил патер Браун. — Все это ужасно просто. Убийца опередил профессора и попал в часовню раньше его — вероятно, пока тот разговаривал на дороге с журналистом. Он нашел старика-викария возле саркофага и убил его. Затем он переоделся в его платье, а труп одел в старинное епископское облачение, которое найдено было викарием при раскопках. Он положил труп в саркофаг, приладил деревянную подпорку и обмотал вокруг нее четки, как я уже говорил. Приготовив таким образом капкан для своего второго врага, он вышел из подземелья и встретил нас со всей ветхозаветной любезностью сельского священника.

— Он сильно рисковал, — заметил Таррэнт. — Ведь, кто-нибудь мог знать Уолтерса в лицо.

— Он был полупомешанный, — ответил патер Браун. — И вы, надеюсь, согласитесь, что игра сто-

ила риска, тем более, что он, в конце концов, выиграл.

— Да, признаюсь, ему повезло, — пробурчал Таррент. — А кто он такой, этот дьявол?

— Вы правы: ему повезло, — ответил патер Браун, — и в этом отношении тоже. Ибо мы никогда не узнаем, кто он был.

Он на мгновенье задумался, потом продолжал:

— Этот человек долгие годы выслеживал своего врага и угрожал ему. И все время он заботился только об одном: чтобы никто не узнал, кто он такой. И ему удалось сохранить эту тайну до конца. Впрочем, если бедняга Смейл выздоровеет, то вы, по всей вероятности, узнаете от него еще кое-что.

— А что, по-вашему, будет делать профессор Смейл? — спросила леди Диана.

— Прежде всего он натравит сыщиков на этого дьявола, — сказал Таррент. — Я сам с удовольствием взялся бы за это дело.

— Кажется, я знаю, что он должен сделать прежде всего, — сказал патер Браун и внезапно улыбнулся — впервые после многих часов сосредоточенного раздумья.

— Что же именно? — спросила леди Диана.

— Он должен извиниться перед всеми вами, — сказал патер Браун.

Но не только об этом говорил патер Браун с профессором, сидя у кровати медленно выздоравливавшего археолога. Собственно, сам патер Браун почти совсем не говорил. Говорил, главным образом, профессор. Патер Браун обладал редким талантом: он

умел быть ободряюще молчаливым. И молчание его так ободряло профессора, что тот говорил о многом таком, о чем не всегда бывает легко говорить. Чудовищные грезы, столь часто сопровождающие горячку, вплетались в его монологи. Не так просто сохранить душевное равновесие, выздоравливая после тяжелого ушиба головы. А когда голова эта такая замечательная, как голова профессора Смейла, то даже бредовые видения, теснящиеся в ней, бывают оригинальными и интересными. В них проносились странные святые в четырехугольных и треугольных ореолах, золотые тиары и нимбы над темными, плоскими лицами, восточные орлы и высокие тиары на женских прическах длиннобородых людей. Но один образ, более простой и понятный, все чаще возникал в его грезах. Византийские фантомы таяли, словно поднесенное к огню золото, на котором они были начертаны. Оставалась только темная голая каменная стена, и на этой стене вспыхивала рыба, как бы начертанная неким фосфоресцирующим пальцем. Ибо то был знак, который он увидел в тот момент, когда за поворотом подземного хода раздался голос его врага.

— Мне кажется, — говорил профессор, — что я теперь понял нечто такое, чего я до сих пор не понимал. С какой стати я буду беспокоиться о том, что один безумец, затерянный среди миллионов нормальных людей, сплотившихся против него в организованное общество, продолжает охотиться на меня и грозит мне смертью? Человека, который начертал в темных катакомбах тайный символ, тоже пресле-

довали, на него тоже охотились — правда, совсем по-иному. Он был одиноким безумцем; общество, состоящее из нормальных людей, сплотилось не для того, чтобы спасти, а для того, чтобы убить его. Я раньше волновался, мучился, доискивался: кто он, мой таинственный преследователь? Таррэнт? Леонард Смайс? Кто из них? Представьте себе, что все они мои враги. Представьте себе, что все они меня преследуют — и пассажиры на пароходе, и соседи в поезде, и крестьяне в селе. Представьте себе, что все они могут быть моими убийцами! Я полагал, что имею право тревожиться оттого, что где-то под землей я встретил человека, который хотел уничтожить меня. А что было бы, если бы этот мой враг жил на земле, не боясь солнечного света, и если бы ему принадлежал весь мир, и если бы он был повелителем всех народов и всех армий мира? А что, если бы он мог взрыть все земные недра, или выкурить меня из моего логова, или убить меня в тот момент, когда я осмелился бы высунуть нос на свет божий? Как выглядит убийство при таких условиях? Мир забыл об этом, как забыл о войне, как только она кончилась.

V

Чудо «Полумесяца»

«Полумесяц» считался местом до известной степени романтичным, достойным своего названия. И то, что там произошло, было по-своему романтично.

В архитектуре «Полумесяца» нашли выражение те элементы неподдельной чувствительности, которые в более старых городах восточного берега Америки прекрасно уживаются с меркантилизмом. Первоначально «Полумесяц» представлял собой дугообразное здание классической архитектуры, действительно переносившей в атмосферу восемнадцатого столетия, в которой жили люди, подобные Вашингтону и Джефферсону. Путешественники, которых спрашивали, как они находят наш город, должны были быть особенно осторожны в своих отзывах о нашем «Полумесяце». Первоначальная гармония давно была нарушена, но это лишь сообщило ему больше своеобразия. В конце одного рога последние окна выходили на огороженный кусок земли, который можно было принять за уголок частного парка; деревья и изгороди были чинно подстрижены, как в садах эпохи королевы Анны. А тут же, за углом, другие окна, окна тех же комнат или, вернее, тех же квар-

тир, выходили на голую, отнюдь не живописную стену огромного склада товаров некоей уродливой отрасли промышленности.

Помещавшиеся на этой стороне «Полумесяца» квартиры были все переделаны по шаблону американского отеля; и забрались они так высоко (не перещеголяв, однако, склада), что в Лондоне такое здание, наверное, окрестили бы небоскребом.

Зато колоннада, шедшая вдоль всего фасада со стороны улицы, имела благородный и величественный вид, и казалось, что меж посеревшими от времени и выветрившимися от непогоды колоннами все еще бродят духи Отцов Республики.

Внутри же комнаты производили впечатление с иголочки новых, очень опрятных, обставленных по последнему слову в этой области. Особенно комнаты, расположенные в северном конце, в промежутке между нарядным садиком и голой стеной склада. Тут шел ряд маленьких квартирок, из которых каждая состояла из спальни, гостиной и ванной; и все квартирки походили одна на другую, как ячейки сотов в улье. В одной из таких ячеек сидел однажды за своим письменным столом знаменитый Уоррен Уинд и, разбирая письма, с необычайной быстротой и точностью отдавал приказания. Его можно было сравнить скорее всего с крошечным ураганом.

Уоррен Уинд был человек очень небольшого роста, с длинными седыми волосами и козлиной бородкой; хрупкий на вид, но в работе — огонь.

Удивительные у него были глаза — ярче звезд и сильнее магнита; никто, раз увидев их, не мог их за-

быть. И работа его в качестве реформатора и руководителя множества хороших начинаний доказывала, что от его глаз ничто не укроется. Ходило множество историй и легенд насчет той сверхъестественной быстроты, с которой он выносил вполне здравые суждения и делал заключения, в частности — заключения о людях и их характере. Утверждали, будто свою жену, которая затем столько времени работала вместе с ним, отдаваясь делам милосердия, он выбрал из целого отряда женщин в форменных платьях, из отряда не то женской полиции, не то «Руководителей Девушек», который прошел мимо него на каком-то торжестве. Много шуму наделала и другая история: к нему явились просить о помощи трое бродяг, одинаково грязных и опустившихся. Ни минуты не колеблясь, он одного из них отправил в специальную лечебницу для нервных больных, другого поместил в убежище для алкоголиков, а третьего взял к себе в лакеи, назначив ему прекрасное жалование; и этот третий вот уже много лет, как с успехом выполнял свои обязанности.

Ходили, разумеется, и неизбежные анекдоты о его метких словечках и репликах при встрече с Рузвельтом, с Генри Фордом, с миссис Асквит и прочими особами, с которыми всякий американец, играющий видную роль в общественной жизни, должен обязательно иметь историческую беседу, хотя бы только на страницах газет. Конечно, трудно было предположить, чтобы эти особы могли смутить его. Во всяком случае, в данный момент он преспокойно продолжал приводить в действие центробежный ураган бумаг,

хотя лицо, сидевшее против него, почти не уступало этим особам по своему значению.

Сайлас Т. Вандам, миллионер и нефтяной магнат, был сухонький человек с длинным желтым лицом и черными, как вороново крыло, волосами. Сейчас краски не были особенно заметны, но общий облик казался зловещим, потому что лицо его находилось в тени, и только контуры выделялись на фоне окна и противоположной белой стены; на нем было наглухо застегнутое элегантное пальто, отделанное каракулем. Зато на оживленное лицо и блестящие глаза Уоррена Уинда свет падал прямо из окна, выходящего в садик, так как он сидел лицом к этому окну. Он казался озабоченным, но отнюдь не беседой с миллионером. Лакей Уинда, крупный, сильный мужчина с прилизанными светлыми волосами, стоял за стулом хозяина, держа в руках пачку писем. А личный секретарь, рыжеволосый юноша с резкими чертами лица, уже взялся за ручку двери, как бы предугадывая желание своего начальника. Комната производила впечатление не только опрятной, но даже строгой и почти пустой. Недаром Уинд, со свойственной ему во всем обстоятельностью, снял такую же квартиру в верхнем этаже и превратил ее в складское место, где все его бумаги и вещи были разложены по ящикам или связаны в кипы.

— Передайте это навверх, Вильсон, — обратился Уинд к слуге, державшему письма, — а мне принесите памфлет насчет миннеаполисских ночных клубов. Вы найдете его в связке под литерой «g». Он мне понадобится через полчаса, а до тех пор не беспокойте

меня. Итак, мистер Вандам, предложение ваше как будто заманчиво. Но я не могу дать вам окончательного ответа, пока не ознакомлюсь с отчетом. Я получу его завтра и тотчас протелефонирую вам. Сожалею, что не могу сразу сказать вам ничего более определенного.

Мистер Вандам, видимо, понял, что ему ничего больше не остается, как удалиться. И, судя по выражению, промелькнувшему на его худом, угрюмом лице, вполне оценил иронию положения.

— Мне надо уйти, очевидно, — сказал он.

— С вашей стороны было очень любезно зайти ко мне, мистер Вандам, — учтиво ответил Уинд. — Вы разрешите мне не провожать вас, так как мне надо безотлагательно покончить с кое-какими делами? Феннер, — повернулся он к своему секретарю, — проводите мистера Вандама до его машины и раньше чем через полчаса не возвращайтесь сюда. Мне нужно поработать одному, после чего вы мне понадобится.

Трое мужчин вышли вместе в коридор и закрыли за собой дверь. Высокий слуга Вильсон повернул в одну сторону, а двое других в противоположную, к лифту: контора Уинда помещалась на четвертом этаже. Не успели они отойти и на ярд от закрытой двери, как в конце коридора показалась великолепная фигура, заполнившая собой весь коридор. Очень высокий широкоплечий человек, казавшийся еще крупнее, потому что он был весь в белом или в очень светло-сером и в широкополой белой панаме, из-под которой выбивалась довольно длинная бахрома тоже совсем почти белых волос. Обрамленное ими лицо

было на редкость красиво и выразительно, лицо римского императора, но вместе с тем в нем, в улыбающихся глазах и в блаженной улыбке, было что-то не только мальчишеское, а просто детское.

— Мистер Уоррен Уинд у себя? — добродушно осведомился он.

— Мистер Уоррен Уинд занят, — сказал Феннер. — Он просил не тревожить его ни в коем случае. Я — его секретарь и могу передать ему то, что вам будет угодно сказать мне.

— Мистер Уоррен Уинд занят, очевидно, даже для папы или коронованных особ, — с кислой улыбкой подтвердил мистер Вандам, нефтяной магнат, — мистер Уоррен Уинд — человек очень разборчивый: я пришел, чтобы передать ему на известных условиях — пустячок — тысяч двадцать долларов, — а он предложил мне прийти в другой раз, будто я мальчишка на побегушках.

— Хорошо быть мальчишкой, — отозвался незнакомец. — Еще того лучше иметь вообще призвание в жизни. Я пришел к вам с далекого запада, оттуда, где создается подлинная Америка, пока все вы тут храпите. Я должен передать Уоррену Уинду призыв оттуда, и он не может не выслушать меня. Вы только скажите ему, что Арт Эльбойн из города Оклаамы приехал, чтобы обратить его.

— Говорю же вам, что его видеть нельзя, — резко ответил секретарь. — Он распорядился, чтобы его не беспокоили в течение получаса.

— Все вы здесь, на востоке, ужасно не любите, чтобы вас беспокоили, — заявил неугомонный мистер

Эльбойн. — Но по моим расчетам на западе подымается шквал, который таки побеспокоит вас. Вот он тут вычисляет, сколько требуется денег для поддержки той или другой старой затхлой религии. А я говорю вам, что всякий проект, не считающийся с великим духовным движением, которое начинается в Техасе и Оклааме, не считается с религией будущего.

— О, знаю я эти религии будущего, — презрительно уронил миллионер: — всех их частым гребнем прошел; все — шелудивые, как дворовые собаки. Была, например, такая женщина София. Ей бы называться Сафирой, по-моему. Мошенничество! Ко всем столам и тамбуринам были проведены веревочки. Потом — кружок «Невидимой жизни». Уверяли, будто могут по желанию становиться невидимыми, и в самом деле исчезли, а с ними и сто тысяч моих кровных долларов. Знавал я Юпитера Иисуса из Денвера; неделями присматривался к нему; оказался обыкновенный жулик. И патагонский пророк — тоже. Готов об заклад биться, что он в Патагонию и сбежал. Нет, довольно с меня всего этого. Теперь я верю лишь тому, что вижу собственными глазами. Это называется, кажется, атеизмом.

— Вы меня не совсем поняли, — с большой охотой взял слово человек из Оклаамы. — Я и сам атеист не меньше вашего. Никаких сверхъестественных штук и суеверий! Одна точная наука — вот основа нашего движения. А единственная подлинная и правильная наука — здоровье; и из всех его видов — единственный подлинный и правильный — хорошее

дыхание. Наполните свои легкие чистым воздухом прерий, и тогда вы сможете смести в море все ваши обветшалые восточные города; самых великих их людей смести, как пушинки чертополоха. Вот чем мы занимаемся у себя дома. Вот в чем заключается наше движение: мы дышим. Не молимся, а дышим.

— О, не сомневаюсь! — устало протянул секретарь.

На его умном, живом лице появилось выражение скуки. Но оба монолога он выслушал с удивительным терпением и учтивостью (что совершенно противоречило легендам о дерзком и нетерпеливом отношении, которое встречают подобные монологи в Америке).

— Ничего сверхъестественного, — продолжал Эльбойн. — За всем якобы сверхъестественным скрывается какое-нибудь великое естественное явление. Что требовали иудеи от своего бога? Чтобы он вдохнул дыханье жизни в человека! В Оклааме мы сами дышим. А вы знаете, каково первоначальное значение слова spirit — дух? В Греции так называли упражнения дыхания. Да, жизнь, прогресс, провидение будущего, все — дыхание.

— Можно бы с таким же основанием сказать, что это — ветер, — заметил Вандам. — Но я рад и тому, что вы покончили со всеми этими божественными штуками.

По живому лицу секретаря, довольно бледному по контрасту с рыжими волосами, прошло странное выражение, в котором чувствовалась затаенная горечь.

— А я не рад! Я только уверен, — сказал он. — Вас как будто тешит то, что вы атеист; другими словами, вы верите в то, во что вам хочется верить. А вот я бог знает что дал бы за то, чтобы был бог. А бога-то и нет! Такое уж мое счастье!

В это время все трое неожиданно отдали себе отчет, что их группа, все еще стоявшая в коридоре у дверей Уинда, неслышно и незаметно пополнилась еще одним человеком. Давно ли стояла подле них эта четвертая фигура, никто из споривших не сумел бы сказать, но вид у нее был такой, будто она почтительно и даже робко дожидается, пока представится возможность сказать кое-что насущно необходимое. Но собеседникам, людям с повышено-нервной восприимчивостью, показалось, будто четвертый вырос внезапно и бесшумно, как гриб. Да он и в самом деле походил на большой черный гриб, так как он был мал ростом, коротенький, приземистый, в большой черной священнической шляпе; сходство было бы еще полнее, если бы грибам было свойственно таскать с собой зонтики, хотя бы и сильно подержанные и бесформенные.

Феннер, секретарь, был удивлен больше других, так как узнал пришедшего. Но, когда тот повернул к нему круглое лицо под круглой шляпой и наивно справился о мистере Уоррене Уинде, он ответил еще короче обычного. Однако, пришедший не смутился и продолжал стоять на своем.

— Мне в самом деле нужно видеть мистера Уинда, — повторял он. — Как это ни странно, но мне необходимо. Мне надо поговорить с ним. Мне надо ви-

деть его. Мне надо убедиться, что он действительно тут.

— О, говорю вам, — сказал Феннер, которому все это начинало надоедать, — что он тут, но видеть его нельзя. Что вы хотите сказать? Разумеется, он здесь. Мы оставили его в той комнате пять минут тому назад и с тех пор не отходили от дверей.

— Ну, так я хочу посмотреть, не случилось ли с ним чего-нибудь.

— Почему? — воскликнул секретарь, теряя терпенье.

— Потому, — ответило духовное лицо, — что у меня есть серьезные, чтобы не сказать больше, основания сомневаться в том, что с ним все благополучно.

— О, небо! — воскликнул Вандам. — Долой суеверия!

— Мне, очевидно, придется объясниться, — серьезно заметил маленький патер. — Вы, вероятно, не разрешите мне и в щелочку заглянуть, пока я не расскажу вам все, от начала до конца?

Он помолчал, как бы собираясь с мыслями, а затем продолжал, не обращая внимания на то, что вызывает общее удивление:

— Я проходил мимо колоннады, как вдруг увидел какого-то оборванца, который опрометью выскочил из-за угла, обогнув «Полумесяц». Он бежал мне навстречу и, когда поравнялся со мной, я увидел знакомую костлявую фигуру и знакомое лицо. Сумасбродный ирландец, которому мне удалось как-то помочь. Имени его я вам не назову. Увидев меня, он

отшатнулся, и крикнул: «Святые угодники, это па-тер Браун! Вы — единственный человек, при виде которого я мог бы сегодня испугаться!» Я понял: он хотел сказать, что учинил какое-то сумасбродство. Однако, вид мой вряд ли особенно испугал его, потому что он тотчас стал рассказывать. Странная это была история! Он спросил меня, знаю ли я Уоррена Уинда, на что я отвечал отрицательно, хотя мне было известно, что он живет где-то здесь, наверху. Он говорил: «Вот человек, который считает себя святым. Но, знай он, что я о нем рассказываю, он готов был бы повеситься». И он несколько раз истерически повторил: «Да, готов был бы повеситься». Я спросил его, не причинил ли он зла Уинду, и получил довольно неясный ответ: «Я взял пистолет и зарядил его не дробью и не картечью, а всего лишь проклятьем». Насколько я понял, он только пробежал по переулку, отделяющему это здание от большого товарного склада, пробежал, держа в руке старый пистолет с холостым зарядом, и выстрелил в стену, точно это могло разрушить здание. «Но при этом, — говорил он, — я проклинал его великим проклятием, чтобы господь схватил его за волосы, а мстящие силы ада за пятки и чтобы он был разорван пополам подобно Иуде, и мир забыл бы о нем». Неважно, конечно, что я ответил несчастному сумасшедшему. Он пошел прочь немного успокоенный, а я обошел здание кругом, чтобы посмотреть — не видно ли чего-нибудь подозрительного. И что бы вы думали? В узком переулке у подножья стены действительно лежал старинного образца пистолет. Я достаточно знаком с

этим видом оружия и сразу убедился, что он был заряжен только порохом. И на стене остались следы пороха и дыма, осталась царапина от дула, но ни малейших следов пуль. Ирландец не оставил по себе ничего, кроме этих черных пятен на стене и черного заклятия. Но я решил подняться сюда, чтобы справиться об Уоррене Уинде и о том, не случилось ли с ним чего-нибудь?

Феннер, секретарь, рассмеялся.

— Могу вас успокоить. Уверю вас, он чувствует себя прекрасно. Всего несколько минут тому назад мы оставили его сидящим за письменным столом. Он был один в квартире, на высоте ста футов от улицы и сидел таким образом, что никакая пуля не могла бы попасть в него, даже если бы ваш приятель стрелял не холостым зарядом. В квартиру нет другого входа, кроме этой двери, у которой мы стоим все время.

— И тем не менее, — серьезно сказал патер Браун, — я хотел бы взглянуть.

— Но это невозможно, — возразил другой. — Силы небесные, неужели вы придаете значение проклятию!

— Вы забываете, — с легкой усмешкой сказал миллионер, — что благословения и проклятия неразрывно связаны с профессией досточтимого джентльмена. Но, сэр, против такой клятвы, вероятно, может помочь ваше благословение? Иначе — что в нем, раз ему не осилить проклятия какого-то проходимца-ирландца?

— Кто верит в эти вещи в наше время? — запротестовал человек с запада.

— Патер Браун во многое, конечно, верит, — продолжал Вандам (недавний щелчок и эта сцена испортили ему настроение). — Патер Браун верит, разумеется, в то, что отшельник переплыл реку на спине крокодила, неизвестно откуда, по его слову, явившегося и затем, по его же слову, испутившего дух. Патер Браун верит в то, что, после смерти некоего святого, тело его утроилось — в угоду трем приходам, которые оспаривали честь считаться его родиной. Патер Браун верит в то, что один святой вешал свой плащ на солнечный луч, а другой пользовался своим как плотом, на котором он переправился через Атлантический океан. Патер Браун верит, что у святого осла было шесть ног и что дом в Лоретто плыл по воздуху. Он верит, что сто каменных дев плачут и сетуют целые дни напролет. Что же ему стоит поверить в то, что человек мог скрыться через замочную скважину или исчезнуть из запертой комнаты? Я полагаю, он не особенно считается с законами природы.

— Во всяком случае мне-то приходится считать с законами Уоррена Уинда, — устало проговорил секретарь. — А он не допускает, чтоб его беспокоили, когда ему надо быть одному! Вот и Вильсон подтвердит мои слова, — повернулся он к рослому слуге, который был послан за памфлетом и сейчас возвращался, видимо, с памфлетом, но невозмутимо миновал дверь. — Вильсон сядет теперь на скамейку в комнате привратника этого этажа и будет вертеть большими пальцами, пока не понадобятся его услуги. До тех пор он в эту комнату не войдет. Не войду и я. Кажется, нам обоим пора знать, с какой стороны

смазывается маслом наш хлеб. И об этом никакие святые и ангелы патера Брауна не заставят нас забыть.

— Что касается святых и ангелов... — начал патер Браун.

—...то это вздор, — подхватил Феннер. — Не желая никого оскорбить, должен все-таки сказать, что такие шутки хороши для монастырей и тому подобных обителей. Но через закрытую дверь американского отеля никакому духу не пробраться.

— Но человеку не трудно открыть дверь, хотя бы и дверь американского отеля, — терпеливо настаивал патер Браун. — И, мне кажется, проще всего было бы открыть ее.

— И лишиться места, еще бы! — возразил секретарь. — Уоррен Уинд предпочитает, чтобы его секретари не были чересчур простоваты, во всяком случае, не настолько, чтобы могли поверить в волшебную сказку, в которую, по-видимому, уверовали вы.

— Что ж, — серьезно ответил патер Браун, — это правда, я верю во многое такое, во что вы, вероятно, не верите. Но потребовалось бы слишком много времени, если бы я стал объяснять, во что я верю, и приводить все доводы, которые убеждают меня в том, что я прав. А достаточно двух секунд, чтобы открыть эту дверь и доказать мне, что я ошибаюсь!

Эта фраза почему-то пленила более своенравный и беспокойный ум человека с запада.

— Признаком, я охотно доказал бы вам, что вы ошибаетесь, — сказал Эльбойн, неожиданно шагнув вперед, — и докажу.

Он распахнул дверь и заглянул в кабинет. Прежде всего он увидел, что Уоррена Уинда нет на его месте у стола, затем — что его вообще нет в комнате.

Феннер в приливе энергии в свою очередь проник в комнату.

— Он у себя в спальней, — сказал он коротко, — несомненно, — и исчез в соседней комнате, а остальные остановились в первой, оглядываясь кругом. Строгость и простота обстановки, о которых уже упоминалось, воспринялась ими как вызов. Разумеется, в этой комнате и мыши бы не спрятались, не то что человеку. Не было ни занавесей, ни шкафов, — что особенно неожиданно в комнате американца. Даже письменным столом служил простой стол с неглубоким ящиком и наклонной доской. Желтые, с высокими спинками кресла выстроились вдоль стен.

Немного погодя из внутренней комнаты вышел секретарь. В глазах его было изумление, а губы как бы машинально произнесли:

— Он не выходил сюда?

Остальные даже не нашли нужным ответить отрицательно на отрицательно поставленный вопрос. Ум их очутился лицом к лицу с чем-то вроде той голубой стены товарного склада, которая маячила за окном и медленно, постепенно, по мере того, как подползали сумерки, из белой становилась серой. Вандам подошел к подоконнику, о который опирался полчаса тому назад, и выглянул в раскрытое окно. На отвесно падавшей вниз, в маленькую улочку, стене дома не было ни трубы, ни пожарной лестницы, никакого выступа или карниза. Не было ничего по-

добного и на противоположной стене, которая поднималась вверх еще на несколько этажей. Ничего вообще по ту сторону улочки не было, кроме однообразной, скучной, выбеленной известкой стены.

Вандам заглянул вниз, будто ожидал увидеть на камнях останки исчезнувшего филантропа-самоубийцы. Там чернел лишь небольшой предмет — быть может, уменьшенный расстоянием пистолет, который видел патер Браун.

Между тем Феннер подошел к другому окну. Составляя часть той же непрístupной и гладкой стены, окно это выходило не на боковую улочку, а в маленький орнаментальный парк. Там, в одном месте, группа деревьев мешала разглядеть, что делается на земле. Но вверх эти деревья поднимались очень невысоко по сравнению с огромным массивом, воздвигнутым руками человека.

И Феннер, и Вандам повернулись к комнате и взглянули друг на друга. Сумерки сгущались, и на полированных досках столов и конторок последние серебряные отблески дня подергивались пеплом. Словно раздраженный этим сумеречным освещением, Феннер повернул выключатель, и электрический свет четко выдвинул все детали сцены.

— Как вы только что заметили, — мрачно проговорил Вандам, — никакой выстрел, произведенный снизу, не мог причинить ему вреда. И, кроме того, попади в него пуля, он все-таки не мог бы растаять, как мыльный пузырь.

Секретарь, еще сильнее побледневший, сердито глянул на желчное лицо миллионера.

— Откуда у вас такие зловещие предположения? Пули, пузыри! Почему бы ему не быть в живых?

— В самом деле, почему? — ласково ответил Вандам. — Скажите мне, где он сейчас, и я объясню вам, как он туда попал.

После паузы секретарь хмуро пробормотал:

— Да, вероятно, вы правы. Мы наткнулись как раз на одно из тех явлений, о которых недавно говорили. Могло ли вам или мне прийти в голову, что в проклятии что-то есть? Но... естественным путем... что могло случиться с Уиндом здесь, в этой комнате, за закрытыми дверями?

Мистер Эльбойн из Оклаамы стоял в это время посреди комнаты, широко расставив ноги, и его круглые глазки и белый венчик волос, казалось, излучали удивление. Тут он вставил, рассеянно и с неуместной дерзостью *enfant terrible*:

— Вы его не очень-то долюбливали, мистер Вандам, а?

Длинная желтая физиономия мистера Вандама как бы еще больше вытянулась и приняла более мрачное выражение, но он улыбнулся и спокойно ответил:

— Если бы дело дошло до сопоставлений, то, помнится, вами была произнесена фраза о том, что шквал, надвигающийся с запада, сметет с лица земли всех наших великих мужей, как пушинки чертополоха?

— Помню, я сказал, что сметет, — наивно подтвердил человек с запада, — но, черт возьми, как он мог бы смести?

Наступившее молчание было нарушено Феннером, который сказал с резкостью, близкой к запальчивости:

— Ясно одно: ничего не случилось. Ничего не могло случиться.

— О, нет! — донесся из угла голос патера Брауна. — Случилось!

Все вздрогнули и оглянулись: правду сказать, они совсем забыли о незаметном человеке, который стоял на том, чтобы они открыли дверь. И теперь, вспомнив, сразу изменили свое отношение к нему. Всем им прежде всего пришло в голову, что они с пренебрежением отстранили его, обозвав суеверным мечтателем только за то, что он намекал на возможность происшествия, с которым теперь они все оказались лицом к лицу.

— Громы и молнии! — крикнул неутомонный человек с запада, принадлежавший, очевидно, к числу людей, которые не умеют вовремя удержать вырвавшееся слово. — Что, если, в конце концов, в этом была доля правды?

— Должен сознаться, — сказал, стоя у стены и сильно хмурясь, Феннер, — что предположения его преподобия были, по-видимому, несколько обоснованны. Не знаю, не скажет ли он нам еще чего-нибудь?

— Быть может, он скажет, что нам делать теперь, черт возьми? — сардонически воскликнул Вандам.

Маленький патер скромно принял создавшееся положение как факт.

— Сейчас не могу придумать ничего другого, — сказал он, — как предупредить управляющего домом, а затем поискать моего ирландца с пистолетом. Он исчез за тем углом «Полумесяца», который обращен к садику. В садике есть скамьи, и бродяги давно облюбовали его.

Немало времени отняли у них непосредственные переговоры с главным штабом отеля, за которыми последовали переговоры с полицейскими чинами, и уже темнело, когда они очутились под длинной закругленной колоннадой. «Полумесяц» казался таким же холодным и выщербленным, как луна, в честь которой он был назван, а настоящая луна поднималась светлым призраком из-за черных верхушек деревьев. Они увидели ее, когда обогнули дом и подошли к маленькому общественному садику. Покров ночи скрадывал то, что в нем было чисто городского, искусственного, и, когда они потонули в тени его деревьев, у всех появилось ощущение, будто они внезапно унеслись за сотни миль от своих домов. Они шли некоторое время молча, как вдруг Эльбойн, в котором действительно было что-то от первобытного человека, не выдержал:

— Отказываюсь! — крикнул он. — Признаю себя побитым! Никак не ожидал, что я дойду до этого!

Но как же быть, раз становишься лицом к лицу? Прошу у вас прощения, патер Браун. Теперь пусть при мне волшебные сказки не хулят! Вот вы, мистер Вандам, говорили, что вы атеист и верите лишь тому, что видите собственными глазами? Ну-с, так что вы видели? Или, вернее, чего вы не видали?

— Знаю, — мрачно кивнул головой Вандам.

— О, виной тут отчасти луна и деревья, они действуют на нервы, — упрямо уронил Феннер. — Деревья при луне всегда производят странное впечатление... ветви расползаются. Взгляните вот сюда.

— Да, — сказал патер Браун, останавливаясь под одним деревом и стараясь разглядеть луну сквозь переплет ветвей, — тут с ветками что-то странное...

И, помолчав, добавил лишь:

— Сначала я подумал, что ветви поломаны...

На этот раз в голосе его была нотка, от которой у слушателей почему-то холодок прошел по спине. В самом деле, с дерева, выделявшегося черным силуэтом на освещенном луной небе, вяло свисало что-то вроде сухой ветки, но не сухая ветка. Как только они подошли ближе, Феннер отскочил в сторону, звонко выбравившись. Потом бросился вперед и быстро снял петлю с шеи болтавшегося крошечного человечка с растрепанными космами седых волос. Раньше, чем он опустил человечка на землю, он уже понял, что держит в руках труп.

Очень длинная веревка была закручена много-много раз вокруг верхушки дерева, и сравнительно недлинный кусок шел от развилины дерева к телу. Большая садовая бочка откатилась, перевернутая, на ярд или ярд с лишним от дерева, как табурет, опрокинутый ногой самоубийцы.

— О, боже! — вырвалось у Эльбойна, не то как мольба, не то как проклятие. — Помните, что сказал о нем ирландец: «Если бы он знал, он готов был бы повеситься!»! Не так ли, патер Браун?

— Да, — ответил патер Браун.

— Ну, — глухо проговорил Вандам, — мне никогда и не снилось, что я скажу нечто подобное, но... не остается разве предположить, что... проклятие сделало свое дело?

Феннер стоял, закрыв лицо руками, и маленький патер мягко спросил, положив руку ему на плечо:

— Вы его очень любили?

Секретарь опустил руки. Лицо его было страшно при свете луны.

— Я ненавижу его всеми силами души, — ответил он. — И если убило его проклятие, то уж не мое ли?

Рука патера Брауна сжалась сильнее, и он сказал так серьезно, как не говорил, пожалуй, до сих пор:

— Нет, успокойтесь, вы тут ни при чем!

Полиции района доставили много хлопот четверо свидетелей, замешанных в этом деле. Все они были люди известные и люди, на которых, в обычном смысле слова, можно было положиться. А один из них — Сайлас Вандам из Нефтяного Треста — представлял собой даже особу важную и пользующуюся властью. Первый же полицейский чин, рискувший отнестись скептически к его версии, вызвал вспышку.

— Не говорите мне, чтобы я «держался фактов», — грубо крикнул миллионер. — Вас и на свете еще не было, а я уже умел «держаться фактов»! Я вам факты и рассказываю. Хватит ли у вас только смысла правильно записать их?

Упомянутый полицейский чин был молод, и летами, и по службе, и имел смутное представление о

том, что с миллионером — политически важной величиной — нельзя обращаться как с рядовым гражданином. Ввиду этого он направил его и его спутников к своему более солидному начальнику, инспектору Коллинсу, седеющему мужчине, усвоившему себе свирепо-благожелательный тон: он-де настроен добродушно, но челухи не потерпит.

— Так-так! — заявил Коллинс, глядя прищуренными глазами на трех стоявших перед ним мужчин. — Забавная, как видно, получается история!

Патер Браун уже отправился по разным делам, но Сайлас Вандам даже приостановил на час гигантские обороты рынка, чтобы дать показания относительно необычайного происшествия, которому он был свидетелем. Секретарские обязанности Феннера, так сказать, окончились вместе с жизнью его патрона, а великого Арта Эльбойна, у которого ни в Нью-Йорке, ни в каком-либо другом месте не было никаких дел, кроме пропаганды «Дыханья Жизни, или религии Великого Духа», ничто не отвлекало в данный момент от выполнения его гражданского долга свидетеля. Вот почему они все трое выстроились в канцелярии инспектора, горя желанием поддержать друг друга.

— Должен прежде всего сказать вам, — весело заявил инспектор, — что со всякими там чудесами ко мне лучше и не приходить. Я — человек практический и полисмен, а такие штуки — дело священников и пасторов. Этот ваш патер здорово вас всех настроил, но я оставляю в стороне его и его религию. Раз Уинд вышел из комнаты — значит, кто-то его выпус-

тил. Раз Уинда нашли висевшим на дереве, значит, кто-то его повесил.

— Совершенно верно, — согласился Феннер, — но раз мы все свидетели, что никто не выпускал его из комнаты, то возникает вопрос — как же его могли повесить?

— На шее у него была веревочная петля — это факт, — продолжал свое инспектор. — А, как я уже сказал, я человек практический и исхожу из фактов. Тут не может быть замешано чудо — значит, тут замешан человек.

Эльбойн отошел несколько в глубь комнаты, и его крупная фигура служила как бы естественным фоном для подвижных и худощавых фигур переднего плана. Он стоял, задумавшись, опустив белую голову. Но при последних словах инспектора поднял ее, как лев тряхнул седой гривой и, очнувшись, удивленно оглянулся вокруг. Двинулся вперед, к центральной группе. У его спутников сложилось неясное впечатление, будто он стал еще более громоздок. Они слишком поспешили отнести его к разряду дураков или скоморохов. Но он был не совсем не прав, когда утверждал, что в нем есть такая сила дыханья и жизни, которая, как западный ветер, исподволь нарастающий, может в один прекрасный день смести все то, что полегче.

— Так вы — человек практический, мистер Коллинс? — сказал он вдруг голосом мягким и сонным. — Вы уже три раза упомянули об этом в нашей беседе, так что ошибиться трудно. Обстоятельство, замечательно интересное для вашего биографа, готовяще-

го ваше жизнеописание, с письмами, беседами, портретами в пятилетнем возрасте, дагерротипом вашей бабушки и видами родного города. Не сомневаюсь, что ваш биограф не упустит этого факта, наряду с теми, что у вас был приплюснутый нос, с прыщом на конце, и что ожирение лишало вас подвижности. Но, раз вы практический человек, вы бы попробовали попрактиковаться: авось вам удалось бы вернуть Уоррена Уинда к жизни или точно выяснить — как надо практическому человеку взяться за дело, чтобы пройти сквозь запертую дверь. Но, думается мне, что вы ошибаетесь, вы вовсе не практический человек. Вы — олицетворенная шутка. Вот вы что такое. Всевышнему вздумалось позабавиться, когда он занялся вами.

С характерным для него чутьем, он поплыл к двери, раньше чем удивленный инспектор обрел дар речи.

— По-моему, вы совершенно правы, — поддержал его Феннер. — Если таковы практические люди, то я предпочитаю попов.

Была сделана еще одна попытка создать официальную версию происшествия — уже после того, как власти окончательно установили, кто поддерживает первую версию и что может из этого выйти. Пресса уже подхватила известие в самом сенсационном виде. Интервью с Вандамом на тему о его чудесном приключении, статьи о патере Брауне и его мистической интуиции вскоре заставили лиц, призванных руководить общественным мнением, принять меры к тому, чтобы ввести его в более здоровое русло. При

следующем допросе к свидетелям подошли более тактично, обиняками. Их поставили в известность, что профессор Вэр, вообще занимающийся аномальными явлениями, особенно заинтересовался данным случаем. Профессор Вэр был весьма известным психологом, много времени уделявшим вопросам криминологии. Они лишь впоследствии обнаружили, что он имеет связь с полицией.

Профессор Вэр был учтивый джентльмен с бородкой клинышком, всегда в костюме какого-нибудь спокойного серого оттенка и в причудливом галстуке. Человек неискушенный мог бы принять его за художника-пейзажиста. Помимо учтивости, преобладало в нем выражение чистосердечия.

— Да, да, знаю, — говорил он, улыбаясь. — Догадываюсь, что вы испытали. Полиция не очень-то блещет, когда дело идет о расследованиях, требующих психологического проникновения, а? Разумеется, старина Коллинс требовал «одних только фактов». Какая нелепость! В таких случаях нам именно необходимы не только факты. Гораздо важнее послушать о всяких фантазиях.

— Вы хотите сказать, — серьезно спросил Вандам, — что-то, что мы называем фактом, — фантазия?

— Ничуть, — возразил профессор. — Я хочу сказать, что глупо со стороны полиции игнорировать в этом деле элемент психологический. Психологический элемент — все во всем. Хотя пока это недостаточно уясняют себе. Начать хотя бы с так называемого личного элемента. Вот, например, этот патер Браун. Я слышал о нем ранее, он один из самых не-

обыкновенных людей нашего времени. Таким людям сопутствует особая атмосфера. И никто не сумел бы сказать, насколько она в данный момент влияет на нервы и чувства. Люди поддаются гипнозу, да, гипнозу; ведь явления гипнотизма, как и все прочие, бывают различного напряжения. Элемент гипноза имеется в каждом, самом будничном разговоре. Со всем необязательно, чтобы это проделывал человек во фраке с эстрады общественного зала. Религия пастера Брауна всегда умела учитывать психологию атмосферы и обращаться ко всем сторонам человека одновременно — даже к чувству обоняния. Ей известно, какое действие производит музыка на животных и людей, она...

— Да что вы! — запротестовал Феннер. — Не воображаете же вы, что он шел по коридору, таща на себе церковный орган?

— О, он располагает более совершенными способностями, — рассмеялся профессор Вэр. — Он умеет в нескольких скупых жестах сконцентрировать сущность спиритуалистических звуков и образов, даже запахов. Он мог, в силу одного своего присутствия, настолько сосредоточить ваше мышление на сверхъестественном, что реальные факты могли как бы выпасть, пройти незамеченными. Вам, конечно, известно, — продолжал он прежним, трезвым и бодрым тоном, — что вопрос о способности человека наблюдать и замечать — вопрос очень сложный, и, чем больше его изучают, тем больше он запутывается. На двадцать человек не найдется, вероятно, и одного, который вообще умел бы видеть. Пожалуй, на сто не най-

дется одного, умеющего увидеть точно. И уж наверное ни одного такого, кто сумел бы увидеть, запомнить и описать. Научными опытами установлено, что, под влиянием внушения, люди считали закрытой дверь, на самом деле открытую, или отпертой — закрытую. Расходились свидетельства нескольких человек насчет количества дверей и окон в стене, против которой они стояли. Они были жертвой оптической иллюзии среди белого дня. И достигалось это даже без гипнотического влияния личности. А здесь мы имеем дело с сильной и умеющей убеждать личностью, которая склонна была зафиксировать в вашем уме одну картину, один образ — образ дикого негодующего ирландца, потрясающего пистолетом и делающего ненужные выстрелы, на которые отвечает эхо громов небесных.

— Профессор! — воскликнул Феннер. — Я на смертном одре моем поклялся бы, что дверь не открывалась.

— Опыт последнего времени, — невозмутимо продолжал профессор, — показал, что в работе нашего сознания нет непрерывности, а лишь смена быстро меняющихся впечатлений, как в кино. Кто-нибудь или что-нибудь легко может, так сказать, проскользнуть между нами и экраном. Воспринимается лишь то, что приходится на момент, когда занавес опущен. По всей вероятности, на этой смене моментов слепоты и зрячести и построены все штуки заклинателей и фокусников. Так вот, этот священник и проповедник трансцендентального исполнил ваши воображения трансцендентальными представлениями — обра-

зом кельта, подобно некоему Титану, потрясающего башню своим проклятием. Надо полагать, он сопровождал это какими-нибудь незаметными, но сильно действующими жестами, направляя ваши взгляды и мысли в сторону неизвестного разрушителя. А может быть, произошло еще что-нибудь или прошел еще кто-нибудь.

— Вильсон, лакей, прошел по коридору к комнате привратника, — проворчал Эльбойн, — но не думаю, чтобы это нас особенно отвлекло.

— Трудно сказать, — возразил Вэр, — возможно, что отвлекло и это, или какое-нибудь движение патера, пока он рассказывал вам свою сказку. И вот, в момент одного из таких провалов в вашем сознании, Уоррен Уинд выскользнул из дверей и пошел навстречу смерти. Это наиболее правдоподобное объяснение. Иллюстрация к последнему открытию: мысль представляет собой не одну непрерывную линию, а скорее — ряд точек.

— Очень густой ряд, — слабо вставил Феннер.

— Не думаете же вы, в самом деле, — обернулся к нему Вэр, — что ваш патрон никак не мог выбраться из комнаты, что он был заперт в ней, как в ящике?

— Предпочитаю верить этому, чем тому, что меня следовало бы запереть в комнату, выстеганную изнутри, — ответил Феннер. — Вот что мне не нравится в ваших рассуждениях, профессор. Я охотнее поверю священнику, который верит в чудеса, чем утрачу доверие к человеку, который пользуется своим правом верить в факты. Священник говорит мне, что человек может воззвать к некоему богу, — о котором

мне ничего не известно, — чтобы тот ответил за него во имя высшей справедливости, о которой я также понятия не имею. Но все-таки можно допустить, что мольбы бедняги-ирландца и пистолетный выстрел были услышаны в каком-то неземном мире и что этот неземной мир принял меры, какие нам кажутся странными. А вы убеждаете меня не верить фактам нашего мира, которые восприняли мои собственные пять чувств. Послушать вас, так мимо нас могла пройти целая процессия ирландцев с мушкетами, и мы не заметили бы их, поскольку они старались бы попадать в слепые интервалы нашего сознания. Чудеса, о которых кричат монахи — вроде материализованного крокодила или повешенного на солнечный луч плаща, — пустяки, по сравнению с тем, что утверждаете вы.

— О, раз вы уверовали в вашего патера и его чудотворца-ирландца, мне нечего больше сказать, — отрезал профессор Вэр. — Боюсь, вы не имели случая изучать психологию.

— Да, — сухо отозвался Феннер. — Зато я имел случаи изучать психологов.

И, вежливо раскланявшись, он повел свою депутацию вон из комнаты. Только очутившись на улице, он разразился.

— Бред сумасшедшего! — горячился он. — Как они полагают — что было бы с миром, если бы никто не мог сказать, что он видел и чего не видел? Хотелось бы мне разнести его глупую башку и объяснить затем, что я это сделал в слепой интервал! Чудесны или нет чудеса патера Брауна, но как он сказал — так

и вышло. А эти проклятые краснобаи, если и видят, что что-нибудь случилось, то уверяют, будто не случилось ничего. Знаете, я думаю, мы в отношении пад-ре обязаны засвидетельствовать все, как было. Все мы люди здоровые, крепкие, никогда ни во что не веровавшие. Мы не были пьяны. Мы не богомольны. А случилось как раз все по его словам.

— Вполне согласен, — поддержал миллионер. — Возможно, что это начало величайшего сдвига в области духа. Во всяком случае, патер Браун — дока по этой части и, наверное, уже отметил данный случай.

Несколько дней спустя патер Браун получил очень любезную записку за подписью Сайласа Т. Вандама, в которой тот просил его явиться в такой-то час на место происшествия для обсуждения, какие надо предпринять шаги в связи с удивительным случаем. О случае уже заговорили газеты, сторонники оккультизма раздували его. По дороге к «Полумесяцу» патеру Брауну попались на глаза заголовки в газетных витринах: «Самоубийство исчезнувшего» и «Проклятие повесило филантропа».

Он нашел всех в сборе: Вандама, Эльбойна и секретаря. Но в их обращении с ним появился совершенно новый оттенок уважения и даже почтения. Они стояли у конторки Уинда, на которой лежал большой лист бумаги и принадлежности для письма. Все обернулись, чтобы поздороваться с ним.

— Патер Браун, — начал седовласый человек с запада, которому поручено было выступить от име-

ни всей группы и которого сознание ответственности несколько укротило. — Мы пригласили вас сюда прежде всего для того, чтобы принести вам наши извинения и нашу благодарность. Мы признаем, что вы первый отметили проявление невидимой силы. Все мы были закоренелыми скептиками. Но сейчас мы осознали, что человек должен отрешаться от скептицизма и стараться понять великие явления потустороннего мира. Вам они знакомы, вы склонны объяснять их сверхъестественным путем. Мы должны отдать все в ваши руки. С другой стороны, мы чувствуем, что настоящий документ требует вашей подписи. Мы изложили самым точным образом все обстоятельства дела для Общества психологических исследований, так как газетные сообщения отнюдь не отличаются точностью. Мы отметили, что проклятие было выкрикнуто на улице; что человек был заперт в комнате, как в ящике; что, под влиянием проклятия, он растаял в воздухе, и каким-то неисповедимым путем материализовался в образ самоубийцы-висельника. Вот все, что мы можем сказать на этот счет. Но зато все это нам доподлинно известно; мы видели это собственными глазами. И так как вы первый поверили в чудо, то, по нашему мнению, вы должны и подписаться первым.

— Нет, право, — смущенно заговорил патер Браун, — не думаю, чтобы мне хотелось...

— Вы хотите сказать, что предпочли бы не подписываться первым?

— Я хочу сказать, что предпочел бы не подписываться вовсе, — скромно пояснил патер Браун. —

Видите ли, человеку в моем положении не годится шутить чудесами.

— Но вы ведь сами сказали, что это чудо? — спросил уставившись на него Эльбойн.

— Сожалею, — ответил патер Браун. — Боюсь, что произошла ошибка. Не думаю, чтобы я говорил о чуде. Я только указал, что это может случиться. Вы же утверждали, что не может, — иначе это было бы чудом. А я сначала и до конца ни одного слова не проронил ни о чудесах, ни о колдовстве и тому подобных вещах.

— Но я полагал, что вы верите в чудеса, — перебил его секретарь.

— Да, — согласился патер Браун, — я верю в чудеса. Верю я и в то, что есть тигры, пожирающие людей, но они вовсе не мерещатся мне на каждом шагу. Если бы мне понадобилось чудо — я знал бы, куда обратиться.

— Не могу понять занятой вами позиции, патер Браун, — серьезно сказал Вандам. — Это так узко, а вы не кажетесь мне узким, хотя вы и пастор. Разве вы не понимаете, что подобное чудо нанесет решительный удар материализму? Оно оповестит весь мир о том, что нездешние силы могут действовать и действуют. Вы послужите религии, как ни один патер до вас.

Патер Браун весь как-то подобрался и, при всей своей неуклюжей приземистой фигурке, исполнился бессознательного достоинства.

— Не станете же вы предлагать мне, чтобы я послужил религии заведомой ложью? — сказал он. —

Я не вполне уясню себе, что вы хотели сказать этой фразой, и, откровенно говоря, не думаю, чтобы вы сами себе уясняли. Во всяком случае, раз вы так настойчиво играете на том, во что я верю, вам не мешало бы получше познакомиться с этим.

— Не совсем понимаю, — с любопытством заметил миллионер.

— Да, вероятно, — просто согласился патер Браун. — Вы говорите, что в этом деле участвовали нездешние силы. Что за силы? Не думаете же вы, что святые ангелы взяли и повесили его в саду на дереве, нет? Ангелы падшие? Нет, нет и нет! Люди, которые это проделали, проделали злую штуку, но в пределах собственной порочности, дальше они не пошли. Они были недостаточно порочны, чтобы общаться с потусторонними злыми силами. Я кое-что знаю о сатанизме, знаю поневоле. — Он вздрогнул, будто прохваченный ледяным ветром. — Не будем говорить об этом. К нашему делу это не имеет никакого отношения, уверяю вас. Неужели вы думаете, что сатана стал бы посвящать в свои тайны моего жалкого сумасшедшего ирландца, который бредил вслух на улице и убежал, боясь выболтать еще больше? Я допускаю, что он участвовал в заговоре с двумя людьми, еще худшими, чем он сам; но при всем том он просто не помнил себя от злости, когда, пробегая переулком, выстрелил из пистолета и прокричал свое проклятие.

— Но что же все это значит, наконец? — спросил Вандам. — Выстрел из игрушечного пистолета и проклятие, которому грош цена, не могли бы привести к таким результатам, если бы не было чуда. Уинд не

исчез бы из-за них подобно фее. И не оказался бы в четверти мили расстояния с веревкой на шее?

— Нет, — резко ответил патер Браун. — Но что могли сделать выстрел из пистолета и проклятие, которому грош цена?

— Я все-таки не понимаю вас, — сказал миллионер.

— Я спрашиваю вас: что могли они сделать? — повторил патер Браун, впервые выходя из своего невозмутимого спокойствия и даже начиная слегка раздражаться. — Вы все твердите: холостой выстрел из пистолета не мог сделать того-то и того-то, а следовательно, если бы им все ограничилось, не было бы убийства или не было бы чуда. Отчего вы не зададите себе вопроса: что же было бы? Что было бы с вами, если бы какой-нибудь сумасшедший ни с того ни с сего выпалил бы из огнестрельного оружия у вас под окном? Что вы прежде всего сделали бы?

Вандам поразмыслил.

— Должно быть, выглянул бы из окна, — сказал он.

— Да, — продолжал патер Браун. — Вы выглянули бы из окна. В этом все и дело. Дело печальное, но тут были смягчающие обстоятельства.

— Допустим, он выглянул из окна — что из того? — спросил Эльбойн. — Не упал ведь он? Иначе мы нашли бы его внизу, в переулке.

— Нет, — негромко ответил патер Браун. — Он не упал. Он поднялся. — Голос его прозвучал, как удар гонга, как зловещий набат, но он продолжал, не повышая его. — Он поднялся, но не на крыльях, не на

крыльях святых или падших ангелов, а на веревке, на конце веревки, в таком точно виде, в каком мы нашли его в саду: петля захлестнула шею в тот момент, когда он выглянул из окна. Вспомните Вильсона, его рослого лакея, человека огромной силищи! А ведь маленький сморчок Уинд ничего почти не весил. Вильсон был послан наверх за каким-то памфлетом, наверх, где лежали перевязанные кипы и тюки и было сколько угодно веревок. Видал ли кто-нибудь Вильсона с того самого дня? Думаю, что нет.

— Вы полагаете, — спросил секретарь, — что Вильсон вытащил его из окна кабинета, как форель на удочке?

— Да, — подтвердил патер Браун, — и из другого верхнего окна спустил его в парк, где третий соучастник подвесил его на дерево. Вспомните: в переулке никогда никого не бывает; напротив — голая стена; все кончилось в каких-нибудь пять минут после того, как ирландец подал сигнал своим выстрелом. Участников, конечно, было трое. И мне интересно знать, догадываетесь ли вы, кто они?

Секретарь, миллионер и человек с запада — все смотрели, не отрываясь, на обыкновенное четырехугольное окно и белую стену против него. Никто не ответил.

— Кстати, — заговорил снова патер Браун, — не думайте, что я осуждаю вас за то, что вы ухватились за сверхъестественное объяснение. Причина ясна. Все вы клялись, что вы закоренелые материалисты, а в сущности все балансировали на грани веры — веры во что бы то ни было. В таком положении ты-

сячи в наши дни, но положение неудобное, грань острая. Вы не успокойтесь, пока не поверите во что-нибудь. Вот почему мистер Вандам прошел частым гребнем все религии, а мистер Эльбойн цитатами из писания подкрепляет свою религию дыхания, и мистер Феннер брюзжит на того самого Бога, которого он отрицает. Вот так вы и раздваиваетесь. Верить в сверхъестественное естественно; а признавать лишь естественное — противоестественно. Потому-то вас чуть было не совратило то, что было как нельзя более естественно, почти неестественно просто. Мне думается, что трудно сыскать другой более простой случай!

Феннер рассмеялся. Но тотчас же на лице его отразилось удивление.

— Не понимаю одного, — сказал он. — Если все это дело рук Вильсона, каким образом Уоррен Уинд мог приблизить к себе такого человека? Как могло случиться, что его убил человек, которого он видел изо дня в день много лет? Он славился своим знанием людей.

Патер Браун, с редкой в нем горячностью, застучал о пол зонтиком.

— Да, — сказал он почти сердито, — потому-то его и убили. Именно за это. За то, что он брался судить людей и судить о людях.

Все уставились на него, но он продолжал, будто говоря с самим собой:

— Может ли человек быть судьей над себе подобным? Эти трое — те самые бродяги, что когда-то стояли перед ним и были моментально распаханы на-

право-налево, будто они не могли рассчитывать на самый скромный фиговый листок учтивости, на то, что им будет предоставлено постепенно осваиваться с новой обстановкой и свободно выбирать друзей. И то негодование, которое зародилось в них в момент рокового оскорбления, когда Уоррен Уинд осмелился определить и квалифицировать их с одного взгляда, не было изжито ими за двадцать лет.

— Да, — сказал секретарь, — понимаю.

— Будь я проклят, если я понял, — пылко выкрикнул сангвинический человек с запада. — Ваш Вильсон и ирландец, очевидно, парочка головорезов — убийц, которые умертвили своего благодетеля. Не нужно мне таких черных кровожадных убийц. Моя мораль обойдется без них, называйте ее религией или нет — как хотите.

— Он несомненно был черным и кровожадным убийцей, — спокойно сказал Феннер, — я не защищаю его. Но я полагаю, что это дело патера Брауна молиться за всех людей, даже за человека, подобного...

— Да, — согласился патер Браун, — это мое дело — молиться за всех людей, даже за человека, подобного Уоррену Уинду...

VI Крылатый кинжал

Был в его жизни период, когда патер Браун не мог, не содрогнувшись, повесить шляпу на вешалку. Этой идиосинкразией он был обязан одной детали довольно сложных событий. Но при его занятой жизни у него в памяти, быть может, и сохранилась ото всего дела лишь одна эта деталь. Связано это воспоминание с обстоятельствами, которые в один особенно морозный декабрьский день заставили доктора Война, состоявшего при полицейской части, послать за патером Брауном.

Доктор Войн был рослый смуглый ирландец, один из тех неудачников-ирландцев, которых много всюду на белом свете, которые толкуют вкривь и вкось о научном скептицизме, о материализме и цинизме, но которые все, что касается религиозной обрядности, обязательно приурочивают к традиционной религии их родной страны. Трудно сказать, что представляет собой их религия: поверхностную ли полировку или солидную субстанцию. Вернее всего — то и другое вместе, с основательной прослойкой материализма. Как бы то ни было, раз только ему приходило в голову, что может быть затронута дан-

ная область, он приглашал патера Брауна, отнюдь не притворяясь, будто ему было бы приятно, если бы события приняли именно такую окраску.

— Знаете, я не совсем еще уверен, нужны ли вы мне, — встретил он патера Брауна. — Я ни в чем пока не уверен. Пусть меня повесят, если я знаю, кто тут нужен — доктор ли, полисмен или священник?

— Ну, что ж, — улыбнулся патер Браун, — поскольку вы соединяете в себе доктора и полисмена, я остаюсь, очевидно, в меньшинстве.

— Допустим, вы то, что политические деятели называют «просвещенным меньшинством», — возразил доктор. — Мне известно, что вам приходилось работать и по нашей части. Но в том-то и дело, тут чертовски трудно сказать, по вашей или по нашей части эта история, а может быть, просто — по части попечительства о душевнобольных. Мы только что получили письмо от человека, который живет поблизости, в том белом доме на холме. Он просит у нас защиты: жизни его угрожает опасность. Мы постарались выяснить фактическую сторону дела и, пожалуй, лучше всего рассказать вам все с самого начала, как оно, по-видимому, происходило:

«Некий Элмер, богатый землевладелец одного из западных штатов, женился сравнительно поздно и имел трех сыновей — Филиппа, Стивена и Арнольда. А еще, будучи холостяком, не рассчитывая, что у него будет прямой наследник, он усыновил мальчика, по его мнению, очень способного и многообещающего, мальчика Джона Стрэйка, происхождения довольно темного, — кто говорил, что он

подкидыш, кто считал его цыганенком. Возможно, что последний слух был связан с тем обстоятельством, что Элмер на старости лет ударился в мрачный оккультизм, хиромантию и астрологию и что, по словам его сыновей, Стрэйк поощрял эти его увлечения. Впрочем, сыновья еще много чего рассказывали. Уверяли, будто Стрэйк был совершенно исключительным негодяем и таким же исключительным лжецом; он был гениален по части изобретения в один миг лживых отговорок, которые он преподносил так, что мог обмануть любого сыщика. Но возможно, что это предубеждение, довольно естественное, пожалуй. Вы, вероятно, уже догадываетесь, что произошло. Старик оставил все решительно приемному сыну, и после его смерти сыновья опротестовали завещание. Они доказывали, что отец был запуган до полного подчинения, если не до полного идиотизма. Что, несмотря на протесты сиделок и членов семьи, Стрэйк самыми дерзкими и необычными способами пробирался к нему и терроризировал его на смертном одре. Как бы то ни было, им, очевидно, удалось доказать, что покойный не владел всеми своими умственными способностями, — суд признал духовное завещание недействительным, и сыновья получили наследство. Говорят, Стрэйк пришел в бешенство и поклялся, что убьет всех троих, одного за другим, что им не уйти от его мести. К нашей защите и обратился третий и последний из братьев, Арнольд Элмер.

— Третий и последний? — переспросил патер Браун, серьезно взглянув на своего собеседника.

— Да, — сказал Войн. — Двое других умерли. — Наступило молчание. Затем он продолжал:

— Отсюда и начинается та часть истории, которая пока под сомнением. Нет доказательств, что они были убиты, но возможно, что оно и так. Старший, который зажил помещиком, якобы покончил с собой у себя в саду. Другой, промышленник, попал головой в машину у себя на фабрике; возможно, что он оступился, упал. Но, если убил их Стрэйк, он, несомненно, очень ловко проделал это и ловко ускользнул. С другой стороны, возможно, что тут мания преследования, которой дали пищу совпадения. Понимаете, что мне нужно? Мне нужен толковый человек, притом лицо неофициальное, который мог бы подняться наверх, поговорить с мистером Арнольдом Элмером и составить себе о нем определенное впечатление. Вы сумеете отличить человека, одержимого навязчивой идеей, от человека, который говорит правду. Я хочу, чтобы вы произвели рекогносцировку, перед тем как мы возьмемся за это дело.

— Странно, что вам не пришлось взяться за него раньше, — сказал патер Браун. — Тянется это, видимо, уже давно. Была ли какая-нибудь особая причина, побудившая его именно теперь обратиться к вам?

— Мне это, разумеется, приходило в голову, — ответил доктор Войн. — Он приводит причину, но, сознаюсь, она такого рода, что заставляет меня недоумевать: не фантазия ли тут больного мозга? Он объясняет, что вся его прислуга вдруг забастовала и ушла от него, а потому он вынужден просить, чтобы

полиция взяла на себя охрану его дома. По наведенным справкам, действительно был великий исход прислуги из дома на холме. И в городе, разумеется, ходит много рассказней с очень односторонним освещением. По словам прислуги, хозяин стал совершенно невозможен: вечно тревожась, пугаясь, он предъявлял к ним чрезмерные требования, хотел, чтобы они сторожили дом, как часовые, или просиживали ночи напролет, как больничные сиделки; им никогда не удавалось быть предоставленными самим себе, так как он никогда не соглашался остаться один. В конце концов они заявили ему, что он сумасшедший, и все потребовали расчет. Разумеется, это еще не доказывает, что он сумасшедший. Но только большой чудака в наше время может требовать от своего лакея и своей горничной, чтобы они несли обязанности вооруженной стражи.

— Словом, — улыбаясь, заметил патер Браун, — ему нужен полисмен, который выполнял бы обязанности горничной, потому что горничная не захотела исполнять обязанности полисмена?

— Мне самому это показалось немного преувеличенным, — согласился доктор, — но я не хотел брать отказа на свою ответственность, не попытавшись пойти на компромисс. Вы — этот компромисс.

— Прекрасно, — просто сказал патер Браун. — Я сейчас же навещу его, если хотите.

Холмистая местность, окружавшая город, была скована морозом, а небо — ясное и холодное, как сталь; только на северо-востоке начинали взбираться

ся по небу тучи, отороченные бледным сиянием. На фоне этих темноватых зловещих пятен белел дом на холме, дом с рядом светлых колонн — недлинной колоннадой классического образца. Дорога, спиралью поднимавшаяся на холм и несколько раз огибавшая его, выше терялась в темной чаще кустарника. Когда патер Браун подходил к кустарнику, на него вдруг повеяло холодом, будто он приближался к леднику или северному полюсу. Но, как человек в высшей степени трезвый, он на подобные фантазии смотрел именно как на фантазии. И только весело заметил, покосившись на большую, синевато-багровую тучу, медленно выползавшую из-за дома:

— Сейчас пойдет снег.

Миновав низкую кованую решетку итальянского стиля, он вошел в сад, на котором лежала та печать запустения, которая бывает свойственна лишь очень упорядоченным местам, когда там воцаряется беспорядок. Иней припудрил густо разросшийся зеленый кустарник; сорные травы длинной бахромой оторочили цветочные грядки, стирая их контуры, и дом по пояс ушел в частую поросль мелких деревьев и кустов. Деревья росли здесь только хвойные или особенно выносливые. Растительность буйно разрослась, а впечатления пышной все-таки не производила — слишком она была холодная, северная. Какие-то арктические джунгли! И при взгляде на дом думалось: его классическому фасаду и ряду колонн выходить бы на Средиземное море, а он чахнет и хиреет на суровых ветрах севера. Классические орнаменты лишь подчеркивали контраст; кариатиды и

маски печально взирали с углов здания на запущенные дорожки; казалось, они замерзли. И самые завитки капителей свернулись будто от холода.

По заросшим травой ступенькам патер Браун поднялся к входным дверям, с высокими колоннами по обеим сторонам, и постучал. Постучал еще раз минуты четыре спустя. И стал терпеливо ждать, прислонившись спиной к дверям и глядя на ландшафт, медленно темневший, по мере того как надвигалась тень от огромной тучи, ползшей с севера. Над головой патера Брауна высоко чернели колонны портика. Вот опаловый край тучи выполз из-за крыши и балдахином навис над портиком. Серый, с переливчатой бахромой балдахин опускался все ниже и ниже над садом, и скоро от светлого, бледно-окрашенного зимнего неба остались лишь несколько серебряных лент и обрывков.

Патер Браун ждал, но из дома не доносилось ни звука.

Тогда он быстро спустился по ступенькам и обогнул дом, ища другого входа. Набрел на низкую боковую дверь. Побарабанил и в эту дверь; подождал. Потянул за ручку и убедился, что дверь заперта на ключ или на засов. Тогда он пошел вдоль стены, мысленно учитывая все возможности и задаваясь вопросом: не забаррикадировался ли эксцентричный мистер Элмер в глубине дома так основательно, что до него даже не доносится стук? А может быть, он сейчас баррикадуется особенно усиленно, полагая, что этим стуком дает о себе знать мстительный Стрэйк?

Возможно, что слуги, уходя сегодня утром, открыли всего одну дверь, которую хозяин и запер за ними.

Но правдоподобнее, что, оставляя дом в таком настроении, они не особенно заботились о мерах охраны. Патер Браун продолжал обходить дом кругом. Через несколько минут он вернулся к своей отправной точке. И тут же открыл то, что искал. Застекленная дверь одной комнаты, снаружи занавешенная плющом, была неплотно прикрыта — очевидно, ее забыли запереть. Один шаг, и он очутился в комнате, комфортабельно, хотя и старомодно, обставленной. Из этой комнаты шла лестница наверх; с другой стороны была дверь в соседнюю комнату, вероятно, — и вторая дверь прямо против окон и вошедшего патера Брауна, дверь с красными стеклами — пережиток былого великолепия. Справа, на круглом столике, стояло нечто вроде аквариума — большая стеклянная чаша, с зеленоватой водой, в которой плавали золотые рыбки и тому подобные штуки, — а прямо против аквариума — растение из вида пальм с очень большими зелеными листьями. Все это имело такой запыленный, такой «эпохи Виктории» вид, что телефон в углублении, полуприкрытом занавеской, казался совсем неуместным.

— Кто тут? — крикнул из-за двери с красными стеклами резкий голос; в тоне было недоверие.

— Могу я видеть мистера Элмера? — спросил патер Браун, как бы извиняясь.

Дверь распахнулась, и в комнату вошел джентльмен в павлиньего цвета халате. Он вопросительно смотрел на патера Брауна. Волосы у него были рас-

трепаны, спутаны, будто он только что встал с постели или непрерывно пребывал в стадии вставания, но глаза совсем проснулись, и взгляд был живой, пожалуй, даже встревоженный. Патер Браун знал, что такие противоречия естественны в человеке, который живет в постоянном страхе. Профиль был тонкий, орлиный; а также прежде всего поражал неопрятный, хаотический вид большой черной бороды.

— Я мистер Элмер, — сказал он, — но я давно перестал ожидать посетителей.

Что-то в беспокойных глазах мистера Элмера заставило патера Брауна перейти прямо к делу. Если это маньяк, то он, наверное, не будет в претензии.

— Я задаюсь вопросом, — мягко сказал патер Браун, — действительно ли вы перестали ждать посетителей?

— Вы правы, — спокойно согласился хозяин, — я постоянно жду одного посетителя, возможно, он будет последним.

— Надеюсь, что нет, — заметил патер Браун. — Во всяком случае, я рад тому обстоятельству, что не особенно похож на него.

Мистер Элмер зло засмеялся.

— Ничуть не похожи! — подтвердил он.

— Мистер Элмер, — заговорил напрямик патер Браун. — Прошу извинения за свою смелость, но один из моих друзей сообщил мне о ваших затруднениях и просил выяснить, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? По правде сказать, у меня есть кое-какой опыт в подобных делах.

— Нет и не было дел, подобных этому, — возразил Элмер.

— Вы, значит, хотите сказать, — заметил патер Браун, — что ваши два брата, так трагически расставшиеся с жизнью, были убиты?

— И даже убийства были непростые, — продолжал другой. — Человек, который загоняет нас на смерть, — порождение сатаны, и сила его — от ада.

— Всякое зло имеет свои корни, — серьезно сказал патер Браун. — Но почему вы знаете, что это не были простые убийства?

Элмер ответил жестом, пригласив гостя присесть; и сам медленно опустился в другое кресло, обхватив руками колени.

Когда он поднял затем глаза, в лице его появилось более мягкое и задумчивое выражение, а голос зазвучал дружелюбно и уверенно.

— Сэр, — заговорил он, — я отнюдь не желаю, чтобы вы считали меня неразумным человеком. Разум привел меня к этим выводам, ибо, к сожалению, разум-то к ним и приводит. Я много книг перечитал на эту тему; ведь я один унаследовал познания отца в данной темной области, а с тех пор унаследовал его библиотеку. Но то, о чем я хочу вам рассказать, не вычитано из книг, я видел это собственными глазами.

Патер Браун кивнул головой, и собеседник его продолжал, как бы подыскивая слова:

— Относительно старшего брата я сначала был не совсем уверен. В том месте, где его нашли застреленным, не было видно никаких следов, никаких отпе-

чатков ног. И револьвер лежал подле него. Но он только что перед тем получил угрожающее письмо от нашего врага, несомненно, так как на письме был знак — крылатый кинжал — одна из его проклятых кабалистических штучек. И служанка говорила, что в полумраке видела, как вдоль стены сада ползло что-то — не кошка, очевидно, — чересчур большое. Распространяться больше не буду. Скажу лишь: если убийца и являлся, то он умудрился не оставить никаких следов своего появления. Но, когда погиб брат Стивен, дело обстояло иначе. И с тех пор мне все известно. Машина была установлена на помосте у подножья башни фабрики. Я вскочил на помост тотчас после того, как он пал, убитый железным молотом. Я не видел, чтобы его ударило что-нибудь, но... я видел то, что видел... В тот миг большой клуб дыма скрывал от моих глаз фабричную трубу, но в одном месте вдруг образовался прорыв, и я увидел на самом верху темную фигуру человека, завернувшегося в черный плащ. Сернистый дым на время заслонил его от меня. Когда дым рассеялся, я глянул на трубу. Там никого не было. Я человек разумный, пусть же разумные люди объяснят мне, как он попал на такую недостижимую высоту и как спустился оттуда?

Он смотрел на патера Брауна с вызывающей улыбкой сфинкса, затем, помолчав, сказал коротко:

— Череп брата разлетелся, но тело не пострадало. И в одном из карманов его платья мы нашли угрожающее письмо, полученное накануне, — письмо с крылатым кинжалом.

— Я уверен, — серьезно продолжал он, — что символ — крылатый кинжал — выбран не случайно. Что бы ни делал этот ужасный человек, все — преднамеренно. В уме у него перепутались и самые сложные планы, и всякие, никому неведомые наречия, шифры, образы без названий. Он принадлежит к самому худшему на свете типу людей: к типу злых мистиков. Я, конечно, не утверждаю, что отгадал все скрытое под этим символом. Но есть, несомненно, какая-то связь между символом и необычными, преступными действиями этого человека в отношении нашей несчастной семьи, над которой он парит, как ястреб. Можно ли не видеть связи между идеей крылатого кинжала и тайной смерти Филиппа — смерти на лужайке собственного дома, где не осталось ни малейших следов ног, ни на траве, ни в пыли дорожек! Можно ли не видеть связи между крылатым кинжалом, который летит как стрела, и фигурой на высочайшей фабричной трубе, фигурой в черном плаще?

— Вы хотите сказать, что он летает, — задумчиво заметил патер Браун.

— Симон Магус достиг этого в свое время, — возразил Элмер, — и в былые темные времена всегда утверждали, что антихрист будет уметь летать. Как бы то ни было, на письмах был изображен крылатый кинжал; мог ли он летать или нет — другой вопрос, но разить он во всяком случае умел.

— Вы не заметили, на какой бумаге были написаны письма, — спросил патер Браун, — на обыкновенной почтовой?

Сфинкс вдруг жестко расхохотался.

— Можете сами убедиться, — мрачно ухмыляясь, сказал он, — я получил сегодня такое же письмо.

Он откинулся на спинку кресла, вытянув ноги из-под зеленого халата, который был ему немного коротковат, и опустив подбородок на грудь. Почти не шевелясь, он запустил руку в карман халата и, вытащив за уголок бумажку, несгибающейся рукой протянул ее. В его позе было что-то, напоминающее о параличе, который сопровождается и оцепенением, и расслаблением. Но следующее замечание патера Брауна страшно взбодрило его.

Патер Браун всматривался в переданную ему бумажку, как все близорукие люди, поднося ее к самым глазам. Бумага была не простая, хотя и шероховатая — нечто вроде листа, вырванного из тетради для этюдов художника. И на ней смелыми штрихами изображен был красными чернилами кинжал с крылышками — такими, как на жезле Меркурия, а внизу слова: «Смерть настигнет вас на следующий за сим день, как настигла ваших братьев».

Патер Браун бросил бумажку на пол и выпрямился в кресле.

— Не давайте озадачивать себя подобными вещами! — резковато молвил он. — Эти негодяи всегда стараются лишить нас возможности защищаться, отняв у нас надежду.

Отчасти, к удивлению его, развалившаяся в кресле фигура будто пробудилась от сна и вскочила.

— Вы правы! Вы правы! — вскричал Элмер с неожиданным оживлением. — И негодяи сами убедят-

ся, что я не так уж беспомощен, не так безнадежно настроен, пожалуй, у меня больше и надежд, и средств защиты, чем вы думаете.

Он стоял, засунув руки в карманы, и, нахмурившись, смотрел сверху вниз на своего собеседника, которому вдруг пришло в голову, не повредился ли в уме этот человек, живущий в непрестанном страхе. Но, когда Элмер заговорил, голос его звучал совсем спокойно.

— Мои несчастные братья погибли, на мой взгляд, потому, что пользовались неподходящим оружием. Филипп имел всегда при себе револьвер, и смерть его объяснили самоубийством. Стивен прибегал к полицейской охране, но в то же время боялся быть смешным и потому не стал тащить агента полиции вслед за собой на помост, на который поднялся на одну минуту. Оба они были скептики — сказала реакция на тот мистицизм, которому преданся мой отец в последние дни своей жизни. Но я знаю, они не понимали отца. Правда, изучая магию, он в конце концов попал под влияние черной магии негодяя Стрэйка. Но братья ошиблись в выборе противоядия. Противоядие против черной магии не грубый материализм, не суетная мудрость, а... белая магия!

— Все дело в том, — заметил патер Браун, — что вы понимаете под белой магией?

— Магию серебра, — пояснил таинственным шепотом его собеседник и добавил, помолчав: — Знаете, что я называю серебряной магией? Одну минуту...

Он распахнул дверь с красными стеклами и вышел. Дом был не так велик, как предполагал патер Браун: дверь вела не во внутренние комнаты, а в коридор, в конце которого видна была другая дверь, выходящая в сад. По одну сторону коридора была еще дверь. «Наверное, в спальню, — подумал священник, — оттуда он и выскочил в халате». Далее по эту сторону коридора не было ничего, кроме обыкновенной вешалки, на которой, как на всякой вешалке, висели в беспорядке старые шляпы, пальто, плащи. Зато у противоположной стены стоял темного дуба буфет, инкрустированный старым серебром, а над ним развешано было старинное оружие. У этого буфета и остановился Арнольд Элмер, глядя на длинный старомодный пистолет с дулом в виде колокольчика.

Дверь в конце коридора была чуть приоткрыта, в щель пробивалась полоса света. Патер Браун всегда безошибочным чутьем угадывал, что происходит в природе. Он сразу понял, почему так необычайно ярка эта полоса. Случилось то, что он предсказывал, когда подходил к дому. Он пробежал мимо немало удивленного хозяина и распахнул дверь. Сверкающая белизна ослепила его. Все склоны холма подернулись той бледностью, в которой есть что-то и старческое, и невинное.

— Вот вам и белая магия! — весело воскликнул патер Браун. А вернувшись в холл, прошептал: — Да и магия серебра тоже!

В самом деле, белое сияние зажигало отблесками серебро и старую сталь пожелтевшего оружия, окру-

жало серебряно-огненным венчиком взлохмаченную голову задумавшегося Элмера. Лицо его оставалось в тени; в руке он держал заморского вида пистолет.

— Знаете, почему я выбрал этот старый мушкет? — спросил он. — Оттого, что его можно заряжать вот такой пулей!

Он вынул из ящика буфета маленькую лжицу* и с усилием отломал крошечную фигурку апостола.

— Вернемся в комнату, — добавил он.

— Случалось вам читать о смерти Денди? — спросил он, когда они снова уселись. — Помните Грэхэма из Клэверхауза, того, что преследовал пресвитериан в Шотландии и скакал на черной лошади, которой не страшны были никакие пропасти? Помните, что его могла взять лишь серебряная пуля, потому что он продал душу черту? В одном отношении с вами, пожалуй, приятно иметь дело: вы достаточно сведущий, чтобы верить в черта.

— О, да! — согласился патер Браун, — я верю в черта. Но зато я не верю в Денди. По крайней мере, в Денди пресвитерианской легенды с его кошмарным концом. Джон Грэхэм был просто солдатом семнадцатого столетия и лучше многих других. Если он и преследовал кого-нибудь, то только потому, что такова была его профессия — профессия драгуна, а не дракона. Судя же по моему опыту, продают черту душу вовсе не такие бахвалы и вояки. Те поклонники его, каких я знавал, были люди совсем иного сорта. Не касаясь имен, которые могли бы ввести в сму-

* *Лжица (церк.)* — ложечка для раздачи Святого Причастия.

щение, упомяну лишь о современнике Денди. Слышали вы о Дэлримпле из Стейра?

— Нет, — мрачно уронил Элмер.

— Во всяком случае, вы слышали о том, что он сделал, — продолжал патер Браун. — И это было хуже всего, когда-либо сделанного Денди. Он устроил избиение в Гленкоё. Человек он был ученый, сведущий юрист, государственный муж с очень широкими взглядами в своей области, притом тихий человек, с лицом тонким и умным. Вот такие-то люди и продают душу черту.

Элмер привскочил на месте и с энтузиазмом закивал головой.

— Клянусь богом, вы правы! — крикнул он. — Тонкое умное лицо! У Джона Стрэйка именно такое лицо!

Тут он поднялся и некоторое время странно-сосредоточенно всматривался в патера Брауна.

— Если вы немного подождете меня здесь, я покажу вам кое-что, — сказал он наконец.

И вышел снова в среднюю дверь, прикрыв ее за собой. «Направился, вероятно, к старому буфету или к себе в спальню», — подумал патер Браун.

Он не вставал с места и рассеянно смотрел на ковер, на который сквозь стекла двери падал бледный красноватый отсвет. На миг он принял было ярко-рубиновый оттенок, но потом снова потускнел, будто солнце то выглянуло из-за тучи, то спряталось вновь. В комнате было тихо, только водяные существа плавали взад и вперед в своей зеленой чаше.

Патер Браун напряженно думал.

Минуту-две спустя он поднялся, бесшумно скользнул к телефону, помещавшемуся в углублении за занавеской, и вызвал доктора Война по месту его службы. «Хотел бы сообщить вам кое-что по делу Элмера, — тихо сказал он. — История любопытная. На вашем месте я немедленно отправил бы сюда несколько человек — пять-шесть, — с тем чтобы они окружили дом». После этого он вернулся на прежнее место и уселся, устлавшись на темный ковер, который снова подернулся ярким кроваво-алым отблеском. Этот просачивающийся сквозь стекла свет навел его на мысль о зарождении дня, предшествовавшем появлению красок, и обо всем таинственном, символом чему являются окна и двери, то закрывающиеся, то распахивающиеся.

Нечеловеческий вопль человеческого голоса прозвенел из-за закрытых дверей, и почти одновременно раздался выстрел. Не успели раскаты его замереть, как дверь распахнулась, и в комнату, шатаясь, вбежал хозяин дома, в разорванном у ворота халате, с дымящимся пистолетом в руке. Он не то дрожал с головы до ног, не то трясся от хохота, неестественного при данных обстоятельствах.

— Хвала великой магии! — кричал он. — Хвала серебряной пуле! Исчадие ада на этот раз ошиблось в расчетах, и мои братья, наконец, отомщены!

Он упал на стул, пистолет выскользнул из рук и покатился на пол. Патер Браун бросился мимо него в коридор. Взялся было за ручку двери, которая вела в спальню, будто собираясь войти, потом нагнулся,

рассматривая что-то, подбежал к наружной двери и распахнул ее.

На снегу, недавно еще нетронутым и незапятнанным, что-то чернело. На первый взгляд — огромная летучая мышь. Но довольно было взглянуть вторично, чтобы убедиться в том, что это человек, лежащий навзничь, человек в широкополой черной шляпе, какие носят американские испанцы, и в широчайшем черном плаще, который случайно, может быть, лег так, что полы его — или рукава, — вытянувшись во всю длину, создали впечатление крыльев. Рук видно не было, но патер Браун угадал положение одной из них и заметил рядом, полуприкрытое платьем, какое-то металлическое оружие. Больше всего это напоминало геральдический эффект: черного орла на белом поле. Но, обойдя вокруг и заглянув под шляпу, патер Браун уголком глаз разглядел лицо, — действительно такое, о каком недавно упоминал его хозяин — тонкое, умное, притом строгое и скептическое лицо Джона Стрэйка.

— Ну, на этот раз меня перехитрили, — пробормотал патер Браун. — Похоже на громадного вампира, птицой ринувшегося с небес.

— Как же бы он мог явиться иначе? — раздался голос от дверей. И патер Браун, подняв глаза, увидел стоявшего на пороге Элмера.

— Он мог ведь прийти, — уклончиво ответил патер Браун.

Элмер широко повел рукой, указывая на белый ландшафт.

— Взгляните на снег! — сказал он глухим, трепещущим голосом. — Он и сейчас незапятнан, вы сами только что назвали его чистойшей белой магией. На целые мили кругом на нем нет ни единого пятна — одна эта грустная клякса, упавшая здесь! Никаких следов, если не считать ваших и моих.

С минуту он сосредоточенно, с загадочным выражением в лице, смотрел на маленького патера, потом добавил:

— Скажу вам еще кое-что. Плащ, в котором он лежит, ему не по росту. Ходить в нем он не мог бы, плащ волочился бы по земле. Он был человек небольшого роста. Вытяните плащ вдоль ног, и вы сами убедитесь.

— Что произошло между вами? — коротко спросил патер Браун.

— Трудно описать, так быстро все случилось, — ответил Элмер. — Я выглянул в дверь и только собирался закрыть ее, как меня словно закружило вихрем,хватило в воздухе колесом. Я выстрелил, не глядя. И затем — увидел то, что вы видите сейчас. Но я глубоко убежден, что все кончилось бы иначе, если бы пистолет мой не был заряжен серебряной пулей, тогда не он лежал бы тут на снегу.

— Кстати, — заметил патер Браун, — мы оставим его тут же на снегу? Или вы предпочтете перенести его к вам в комнату? Должно быть, эта ваша спальня выходит в коридор?

— Нет, нет, — заторопился Элмер, — пусть лежит так до прихода полиции. Довольно с меня всего этого! Силы не выдерживают. Что бы там еще ни случи-

лось, пока надо глотнуть чего-нибудь. После пусть хоть вешают меня, если им заблагорассудится.

Вернувшись в комнату, Элмер упал в кресло, стоявшее между пальмой и аквариумом с рыбками, причем едва не перевернул аквариума; графинчик с бренди он нашел лишь после того, как пошарил наугад в нескольких шкафах и по разным углам. Он и раньше не производил впечатления человека аккуратного. Но сейчас его рассеянность, очевидно, перешла всякие границы. Он отпил большой глоток и заговорил возбужденно, словно во что бы то ни стало желая нарушить молчание:

— Вы еще сомневаетесь, хотя видели все собственными глазами. Поверьте, единоборство духа Стрэйка с духом дома Элмеров имело под собой более глубокое, чем вам кажется, основание! Впрочем, вам-то совсем не пристало быть Фомой неверным. Вы должны защищать все то, что эти глупцы называют суевериями. Признать, что в рассказах старых баб о талисманах и приворотах, о серебряных пулях что-то кроется! Что вы, католик, скажете на это?

— Скажу, что я агностик, — улыбнулся патер Браун.

— Вздор! — нетерпеливо крикнул Элмер. — По вашей профессии вы должны верить в разные штуки.

— Ну, в некоторые штуки, я, разумеется, верю, — согласился патер Браун. — И именно потому не верю в другие.

Элмер нагнулся вперед и стал всматриваться в него напряженно, почти как гипнотизер.

— Вы верите в них, — говорил он. — Вы верите во все. Все мы во все верим, даже когда отрицаем. Отрицающий верит. Разве вы в глубине души не чувствуете, что противоречия тут кажущиеся, что единый космос все обнимает. Душа переключивается со звезды на звезду, и все повторяется. Быть может, Стрэйк и я боролись друг с другом в других существованиях, в другом виде, — зверь со зверем, птица с птицей. Быть может, мы будем бороться вечно. И, раз мы ищем друг друга, раз мы нужны один другому, то наша вечная ненависть — та же любовь. Добро и зло чередуются в круговороте, добро и зло — одно. Не сознаете вы разве в глубине души, не верите разве помимо всех ваших вер в то, что есть лишь одна реальность, и все мы — тени ее? Один центр, где люди растворяются в человеке и человек — в Боге?

— Нет, — ответил патер Браун.

Снаружи спускались сумерки; был тот час, когда в пасмурные дни на небе, отягченном снеговыми тучами, темнее, чем на земле. В окно с полузадернутой занавеской патер Браун смутно различал под колоннами портика, у главного входа, неясную фигуру. Бросил невзначай взгляд на застекленную дверь, в которую он вошел, и увидел за ней тоже две неподвижные фигуры. Внутренняя, с красными стеклами, дверь была полуоткрыта, а за ней в коридоре ему видны были две длинные тени, преломляющиеся на полу в две серые карикатуры на людей. Доктор Войн послушался его совета. Дом был окружен.

— К чему отрицать? — настаивал его хозяин, по-прежнему не спуская с него гипнотизирующего взгляда. — Вы собственными глазами видели один из эпизодов вечной драмы. Видели, как Джон Стрэйк грозил уничтожить Арнольда Элмера черной магией. Видели, как Арнольд Элмер при помощи белой магии рассчитался с Джоном Стрэйком. Вы видите сейчас перед собой живого Арнольда Элмера. Он говорит с вами — и вы все же не верите?

— Да, не верю, — твердо сказал патер Браун и поднялся с места, как посетитель, собравшийся уходить.

— Но почему же? — был вопрос.

Патер Браун едва повысил голос, но его слова колокольным звоном отдались во всех углах комнаты:

— Не верю потому, что вы не Арнольд Элмер, — сказал он. — Я знаю, кто вы такой. Вас зовут Джон Стрэйк, и вы убили последнего из братьев — того, что лежит там, на снегу.

Тот, видимо, призвал на помощь всю свою силу воли, делая последнюю попытку подчинить себе своего противника. Даже зрачки его стянуло белыми кольцами. Потом он вдруг мотнулся в сторону. Но в этот самый момент позади него раскрылась дверь, и рослый детектив в штатском спокойно опустил руку ему на плечо. В другой опущенной руке он держал револьвер. Захваченный врасплох Стрэйк обвел блуждающими глазами тихую комнату и увидел в каждом углу по человеку в штатском.

Патер Браун в тот же вечер долго беседовал с доктором Бойном о трагедии семьи Элмер. К тому вре-

мени всякие сомнения уже рассеялись: личность Джона Стрэйка была установлена, и он сознался в своих преступлениях, вернее говоря, бахвалился своими победами. По сравнению с тем фактом, что он завершил свою жизненную задачу, покончив с последним Элмером, все остальное, видимо, было ему безразлично, даже вопрос о его собственном существовании.

— Человек этот своего рода маньяк, одержимый одной идеей, — говорил патер Браун. — Ничто другое его не интересует, не может заинтересовать, хотя бы и другое убийство. Это соображение служило мне немалым утешением в течение тех часов, что я провел в его обществе. Вам, несомненно, приходило в голову, что, вместо того чтобы рассказывать сказки о крылатых вампирах и серебряных пулях, он мог просто всадить в меня обыкновенную свинцовую пулю и преспокойно выйти из дому. Уверяю вас, мне это не раз приходило в голову.

— Любопытно знать, почему он этого не делал? — заметил Бойн. — Не понимаю. Впрочем, я пока вообще ничего не понимаю. Каким образом вы все это раскрыли? И что вы собственно раскрыли?

— О, вы прекрасно информировали меня, — скромно ответил патер Браун. — В особенности ценно было одно сообщение. Я имею в виду ваши слова о том, что Стрэйк изобретательнейший лгун и фантазер, с редким присутствием духа преподносивший свои измышления. Сегодня ему понадобилась немалая доля присутствия духа, и он оказался на высоте положения. Пожалуй, он в одном только ошибся —

не следовало выдумывать сверхъестественной истории; но он решил, что я, как священник, готов верить чему угодно. Такие ходячие мнения очень распространены.

— Но я ничего не понимаю, — воскликнул доктор. — Вы бы начали с самого начала.

— Началось с халата, — просто сказал патер Браун. — Удачнее маскарад трудно было придумать. Когда вы встречаете в доме человека в халате, вы механически принимаете за доказанное, что он там у себя. Так случилось и со мной. Но затем начался ряд странностей. Сняв пистолет, он далеко отставил его от себя и щелкнул курком. Так поступают, если оружие чужое и надо проверить — не заряжено ли оно. Он должен был бы знать, заряжены или нет пистолеты, висевшие у него в коридоре. Не понравилось мне и то, как он искал бренди, как едва не налетел на аквариум. Когда в комнате имеется такая хрупкая вещь, машинально вырабатывается привычка обходить ее. Впрочем, все это могло быть плодом моего воображения. Вот, что дало мне первые реальные указания: он вышел ко мне из коридора, в котором, кроме наружной двери, была лишь одна дверь; я и решил, что это дверь в его спальню, откуда он и появился. Я попробовал открыть ее: она была заперта. Мне это показалось странным. Я заглянул в замочную скважину. Комната была совсем пустая, ни кровати, ни другой какой-либо мебели. Я понял тогда, что он пришел не из этой комнаты, а со двора. И тотчас мне ясно представилась вся картина.

Бедняга Арнольд Элмер, наверное, и спал, и жил наверху. Спустился за чем-то вниз в халате, открыл

дверь с красными стеклами и в конце коридора увидел своего врага — высокого бородатого мужчину в шляпе с большими полями и широком черном плаще. Немного он видел после того. Стрэйк бросился на него, либо задушил, либо заколол, — это выяснит следствие. И в ту минуту, когда, стоя между вешалкой и буфетом, он с торжеством взирал на поверженного врага, последнего своего врага, он вдруг неожиданно услышал в гостиной чьи-то шаги. Это я вошел через застекленную дверь.

Он проявил чудеса проворства и ловкости. Он не только переоделся, но и симпровизировал целую сказку. Он сбросил свой плащ и свою большую черную шляпу, надел халат убитого. Затем сделал ужасную, на мой взгляд, вещь: он повесил тело как пальто на вешалку, прикрыл его своим плащом, нахлобучил на голову свою шляпу. Не было другого способа скрыть тело в этом узеньком коридоре, с запертой в единственную примыкающую комнату дверью. Но придумано было очень умно. Я сам прошел раз мимо вешалки, ничего не заметив. Боюсь, меня всегда будет пробирать дрожь при этом воспоминании.

Он мог, пожалуй, ограничиться этим. Но боялся, как бы я не обнаружил тела. А тело, подвешенное подобным образом, требовало бы разъяснения, так сказать. Он решил сделать смелый ход: он сам откроет и сам разъяснит.

Тут в его причудливом и страшно плодовитом мозгу и зародилась мысль поменяться ролями. Он должен выдать себя за Арнольда Элмера — почему

бы ему не выдать убитого за Джона Стрэйка? Ситуация не могла не подействовать на воображение этого фантазера. Получался зловещий маскарад, на который два смертельных врага явились, переодевшись друг другом; пляска смерти, потому что один из танцоров был мертв. Так, мне кажется, он все это рисовал себе. И, наверное, улыбался при этом.

Патер Браун задумался, рассеянно глядя прямо перед собой, в его лице только большие серые глаза и обращали на себя внимание... когда он не шурил их. Немного погодя, он продолжал, все также просто и серьезно:

— У этого человека был талант — благородный талант: сочинять и рассказывать. Он мог бы быть великим романистом, но пользовался своим даром для целей злых и узкопрактических; он обманывал людей не праздными вымыслами, а вымышленными фактами. Началось с того, что он обманывал старого Элмера, придумывая всевозможные оправдания для себя и преподнося ему с мельчайшими подробностями всякие лживые истории. Возможно, что в начале в этом было много детского: ребенок ведь одинаково чистосердечно может заявить, что он видел короля английского или короля Волшебного Царства. Черта эта укоренилась в нем. Благодаря пороку, от которого пошли все другие пороки: благодаря гордыне. Он стал все больше и больше тщеславиться своим умением быстро придумывать истории, своеобразно и тщательно разворачивать сюжет. Вот почему молодые Элмеры уверяли, будто он «околдовал» отца. Так околдовывала Шахерзада деспота «Тыся-

чи и одной ночи». И прожил он свою жизнь, гордый сознанием, что он поэт, исполненный ложной, но беспредельной смелости великих лжецов. И сказки его, вероятно, бывали особенно красочны и фантастичны, когда он, как сегодня, рисковал головой.

Я уверен, что в этой истории его забавляла фантастика не меньше, чем уголовщина. Он попробовал рассказать то, что случилось на самом деле, только наоборот: так, будто мертвый жил, а живой — был мертв. Сначала он облекся в халат Элмера, потом попытался облечься в его душу и тело. Глядя на тело, он воображал, будто его собственный хладный труп лежит на снегу. Затем он придумал ему странный вид, вызывающий представление о ястребе, ринувшемся с неба на добычу. Он одел его в свои развевающиеся мрачные одежды; он создал вокруг него мрачную сказку о черной птице, которую берет лишь серебряная пуля. Не знаю, что подсказало его художественному чутью тему о белой магии и о белом металле, губительном для чародеев, — блеск ли серебра, которым инкрустирован старый буфет, или сверкание снега, отблеск которого пробивался из-под двери. Но, как бы ни возникла тема, он претворил ее в себе, как истый поэт, и справился с этим быстро, как практичный человек. Он завершил обмен ролями, бросив тело на снег, как тело Стрэйка. Он постарался дать жуткое представление о Стрэйке, как о крылатом, когтистом орле-гарпии, парящем в воздухе. Ведь надо было объяснить, почему нет следов на снегу. Был момент, когда он положительно привел меня в восхищение своей дерзостью поэта. Он умудрился

обратить в свою пользу то, что сильнее всего говорило против него: он обратил мое внимание на то, что плащ убитому не в пору, слишком длинен — ясно, убитый не ходил по земле, как обыкновенные смертные. Но при этом он особенно пристально смотрел на меня, и я невольно подумал, что он пытается навязать мне чудовищный блеф.

И доктор Бойн размышлял.

— Вы успели уже разгадать правду к тому времени? — спросил он. — Все, что связано с тождеством личности, особенно действует на нервы. Не знаю, что лучше: быстро ли догадаться или подходить к истине постепенно. Мне интересно знать, когда у вас зародилось первое подозрение и когда вы окончательно убедились?

— Кажется, я заподозрил по-настоящему, когда телефонировал вам, — пояснил его друг, — а главную роль сыграли при этом красные отсветы на ковре. Они то тускнели, то разгорались ярче, как брызги крови, вопиющие о мщении. Чем это объяснялось? Я знаю, что солнце не выходило из-за туч; очевидно, в коридоре то открывали, то закрывали дверь, выходящую в сад. Но он сразу поднял бы тревогу, если бы, выйдя, заметил своего врага. Между тем суматоха поднялась лишь спустя некоторое время. Я начал догадываться, что он выходил с какой-то определенной целью, чтобы подготовить кое-что. Когда я окончательно убедился, на это ответить труднее. Помню, под конец он старался загипнотизировать меня черной магией глаз и чарами голоса. Очевидно, он это не раз проделывал со старым Элмером. И играло при этом роль не толь-

ко то, как он говорил, но и то, что он говорил. Философское и религиозное обоснование.

— Я реалист, — заметил доктор с грубоватым юмором, — религия и философия не по моей части.

— Какой же вы реалист в таком случае! — возразил патер Браун. — Послушайте, доктор. Вы знаете меня довольно хорошо; знаете, кажется, что я не ханжа; не стану отрицать: бывают хорошие люди приверженцы дурной религии и дурные — хорошей. Но одну вещь я усвоил из опыта, опыта вполне реального, вот так, как узнают уловки какого-нибудь животного или научаются различать марки хороших вин. Вряд ли мне попадался хотя бы один преступник из тех, что любят пофилософствовать, который не философствовал бы на темы об ориентализме и перевоплощении, о колесе судьбы и круговороте вещей, о змее, закусившей собственный хвост. Я на деле убедился, что над слугами этого змея тяготеет рок: они обречены ползать на брюхе и глотать пыль. На спиритуалистические темы может болтать любой шантажист и любой злодей. Первоисточки этого ученья, быть может, и иные; но в нашем деловом мире оно стало религией негодяев. И я знал, что говорит со мной негодяй.

— Но, я полагаю, негодяй может исповедовать любую, по своему выбору, религию, — заметил доктор Бойн.

— Да, — согласился его собеседник, — может или, вернее, мог бы, если бы тут было притворство, рассчитанное лицемерие. Любое лицо можно прикрыть

любой маской. Каждый может заучить несколько фраз и утверждать на словах, будто он держится таких-то взглядов. Я сам мог бы выйти на улицу и объявить себя левославным методистом или чем-нибудь в таком роде, хотя, боюсь, это показалось бы не очень убедительным. Но мы ведь говорим о поэте. А поэту нужно, чтобы маска до известной степени была вылеплена на нем. Поступки его должны отвечать тому, что происходит в нем самом. Лишь из того материала, который имеется у него на душе, может он черпать свои эффекты. Я допускаю, что он мог бы назваться методистом, но он не мог бы быть красноречивым методистом, а быть красноречивым мистиком или фаталистом ему было не трудно. Подобный человек только на такой концепции идеализма и мог остановиться, когда ему понадобилось быть идеалистом. А на этом была построена вся его игра со мной. Подобный человек, даже весь покрытый запекшейся кровью, способен вполне искренно уверять вас, что буддизм — выше христианства, мало того, что буддизм — больше христианство, чем само христианство. Одно это достаточно освещает, какое у него отвратительное и превратное представление о христианстве.

— Клянусь небом, — смеясь, воскликнул доктор, — я не возьму в толк, вы защищаете или осуждаете его?

— Сказать о человеке, что он гений, не значит защищать его, — пояснил патер Браун. — Отнюдь. Художник или поэт поневоле выдает себя. Леонардо да

Винчи не сумел бы нарисовать неумело. Как он ни старайся — получилась бы лишь изысканная пародия на слабую вещь. Так и методист в изображении Стрэйка был бы неправдоподобен.

Немного погодя патер Браун шел домой. Свежий морозный воздух пьянил. Деревья стояли как серебряные канделябры на празднике очищения. Холод пронизывал, как тот серебряный меч чистого страдания, что пронзил некогда сердце неизреченной Чистоты. Но холод был не убийственный, разве в том смысле, что уничтожал все смертное, мешающее расцвету нашей бессмертной и неисчерпаемой жизненности. Бледно-зеленое послезакатное небо, на котором зажглась лишь одна звезда, как звезда Вифлеемская, неведомо почему представлялось светозарной пещерой. Будто там, в глубине, зеленым пламенем пылало Горнило Холода, пробуждая все существа к жизни и теплу, и чем больше они погружались в холодно-кристальные волны красок, тем они становились легче, подобно крылатым созданиям, и прозрачнее, подобно цветному стеклу. Там возвещалась истина; там заблуждение отсекалось от истины ледяным лезвием. И в том, что оставалось, жизнь, как никогда, была ключом. Словно ледяная гора заключала в себе всю радость мира, как прекрасную драгоценность...

Патер Браун сам не совсем разбирался в своем настроении, по мере того как все больше погружался в зеленый сумрак, все большими глотками пил девственный, живительный воздух. Забытые, остались

Крылатый кинжал

далеко позади муть и скорбь жизни. Они стерлись, исчезли, как исчезают занесенные снегом следы ног человека.

И, с трудом пробираясь по снегу к себе домой, па-тер Браун шептал про себя: «А все-таки он прав, есть белая магия, но надо знать, где искать ее...»

VII

Обреченный род

Два художника-пейзажиста молча созерцали морской вид. На обоих он производил сильное впечатление, хотя воспринимали они его по-разному. Одному из них — приезжему из Лондона — он был совершенно незнаком и чужд. Другому — местному жителю, известному, однако, далеко за пределами его родины, — этот вид был знаком гораздо ближе, но, тем не менее, в данный момент также казался чуждым.

В смысле колорита и внешних очертаний пейзаж, который созерцали художники, представлял собой полосу желтого песка на фоне полосы солнечного заката. В нем смешались различные краски: мертвенно-зеленая, бронзовая и желто-серая, казавшаяся в этом сочетании не только мрачной, но даже таинственной — более таинственной, чем золото. Ровный очерк пейзажа нарушало только длинное здание, подступавшее к берегу моря. Самое удивительное в этом здании было то, что верхняя его часть, вся в бесчисленных окнах и широких трещинах, имела вид руины и на фоне угасающего заката казалась каким-то черным скелетом, в то время как нижняя часть почти совсем не имела окон. Те, что сохранились, были замурованы, и различить их почти не представлялось

возможным в сумеречном свете. Впрочем, одно окно было настоящим окном, но выглядело оно еще таинственнее других, потому что в нем горел свет.

— Кто может жить в этих развалинах? — воскликнул лондонец — крупный, божьего вида мужчина, со встрепанной рыжей бородой, делавшей его старше, чем он был на самом деле; в Лондоне он был известен под именем Гарри Пэйна.

— Вы, вероятно, думаете — привидения? — ответил его друг Мартин Вуд. — Что ж, обитатели этого дома, пожалуй, действительно, похожи на привидения.

Казалось парадоксом, что художник из Лондона проявляет совершенно буколическую свежесть восприятий, какую-то сельскую наивность и молоджавость, тогда как местный художник выглядит человеком более сдержанным, опытным и относится к своему коллеге с дружеской насмешливостью старшего товарища. Он и с виду казался как-то спокойней и уравновешенней. Его квадратное туповатое лицо было чисто выбрито, и одет он был в черный костюм.

— Это знамение времени, — продолжал он. — Уходят старые времена и с ними — старые имена. Последние отпрыски знаменитого рода Дарнэуей живут в этом замке. Бедны они невероятно. У них не хватает даже средств отремонтировать верхний этаж своего жилища. Они живут в нижнем этаже, точно совы. Зато у них есть фамильные портреты из эпохи войны Алой и Белой Розы и первых шагов портретной живописи в Англии. Некоторые из этих картин совсем неплохи. Я это знаю случайно, потому что

Дарнзудей неоднократно обращались ко мне, как к специалисту, за различными советами. Там есть портрет — один из самых ранних; он до того хорош, что прямо мороз по коже продирает.

— Да тут от одного вида этих руин мороз по коже подирает, — заметил Пэйн.

— Пожалуй, вы правы, — сказал Вуд.

Воцарившееся молчание было через несколько минут внезапно нарушено звуком шагов. И художники невольно содрогнулись (эта дрожь была вполне объяснима), когда на берегу внезапно появился темный силуэт, двигавшийся очень быстро, точно вспугнутая птица. Однако, тотчас же выяснилось, что это самый будничнейший человек с черным чемоданом в руках, смуглый, длиннолицый мужчина с острыми глазами; он внимательно и довольно недружелюбно оглядел лондонца с головы до ног.

— Это доктор Барнет, — сказал Вуд, и в голосе его прозвучало облегчение. — Добрый вечер, доктор. Идете в замок? Надеюсь, никто не болен?

— В такой труппе только больные и могут жить, — пробурчал доктор. -- Впрочем, они уже так больны, что не замечают этого. Тут самый воздух зачумлен. Не завидую я этому молодому австралийцу.

— А кто такой молодой австралиец? — спросил Пэйн отрывисто и довольно рассеянно.

— А! — удивился доктор. — Вам ваш друг ничего не рассказывал? Этот юноша прибыл сегодня. Типичная старомодная мелодрама: наследник возвращается из-за моря в свой разрушенный родовой за-

мок, чтобы, согласно древнему семейному договору, жениться на девушке, поджидающей его в башне, заросшей плющом. Какова старинка! А ведь вот и теперь случаются такие вещи. У него даже есть немножко денег, и это единственное светлое пятно во всей истории.

— А что обо всем этом думает сама мисс Дарнэуей? — сухо спросил Вуд.

— То же самое, что она думает всегда и обо всем, — ответил доктор. — В этом логове вообще не думают; только бродят по галереям да грезят. Помоему, она воспринимает семейный договор и жениха из Австралии как часть роковой судьбы рода Дарнэуей. Я уверен, что если бы он оказался горбатым, одноглазым негром с манией человекоубийства, то она бы решила, что это лишь последний художественный штрих, вполне соответствующий сумеречному пейзажу.

— Вы выставляете напих земляков в довольно непривлекательном виде! Что подумает о них мой друг из Лондона! — рассмеялся Вуд. — А я как раз собирался повести его туда. Каждый художник должен воспользоваться случаем и полюбоваться портретами из галереи Дарнэуей. Впрочем, кажется, лучше будет отложить наш визит, раз приехал этот австралиец.

— Пожалуйста, пойдите к ним! — горячо воскликнул доктор. — Все, что хоть сколько-нибудь может осветить их унылую жизнь, облегчит мне мой труд. Но тут, кажется, нужен целый полк австралийских кузенов, чтобы поднять их настроение. Чем больше

посетителей, тем — лучше! Идемте, я сам представлю вас.

Они подошли ближе к замку, и Пэйн увидел, что он окружен ровом, полным стоячей зеленой воды. Старый мост был перекинут через ров, а по другую сторону моста виднелся довольно широкий каменный двор, весь в трещинах, из которых пробивалась трава и какие-то дикие растения. Этот двор казался в серых сумерках удивительно пустынным. Он упирался в широкие и низкие ворота эпохи Тюдоров, широко раскрытые, но темные, как вход в пещеру.

Когда стремительный доктор без всяких предварительных церемоний провел их в ворота, Пэйн опять почувствовал, что ему как-то не по себе.

Он думал, что ему придется подниматься в какую-нибудь полуразрушенную башню по узким и крутым винтовым лестницам, а в действительности он сразу же спустился на несколько ступенек вниз. Они шли анфиладой темных покоев, которые напоминали подземные казематы, несмотря на то, что были увешаны темными картинами и уставлены пыльными книжными шкапами. Там и сям тусклая свеча в старинном канделябре выхватывала из мрака какую-нибудь деталь некогда роскошной, а теперь совершенно запущенной обстановки, но случайного посетителя поражали не эти свечи, а мерцание пробивавшегося откуда-то дневного света. Пройдя в конец длинного зала, Пэйн увидел источник этого света — низкое овальное окно в стиле семнадцатого века. Это окно отличалось одним удивительным свойством: из него было видно не настоя-

щее небо, но только отражение неба — бледная полоска дневного света, отражающаяся в воде рва, под нависшей тенью каменных ступеней. Пэйн вспомнил о властительнице замка из средневековой легенды, видевшей внешний мир только в зеркале. «А властительница замка Дарнэуей, — подумал он, — видит мир мало того, что в зеркале, но еще и вверх ногами».

— Можно подумать, что замок Дарнэуей рушится не только в переносном, но и в буквальном смысле этого слова, — тихо сказал Вуд, — что он погружается в болото или в сыпучие пески. Кажется, что недалеко тот час, когда море поглотит его.

Даже трезвый доктор Барнет невольно содрогнулся, когда к ним беззвучно приблизилась какая-то странная фигура. В комнате царила такая глубокая тишина, что посетители были крайне удивлены, обнаружив, что она не пуста. В ней находились три человека — три неподвижные фигуры, одетые во все черное и похожие на три мрачные тени. Когда одна из этих фигур, поднимаясь им навстречу, подошла к окну, Пэйн увидел, что это мужчина и что лицо у него почти такое же серое, как обрамляющие его волосы. То был старик Вайн, дворецкий, оставшийся в замке *in loco parentis* после смерти эксцентричного чудака — последнего лорда Дарнэуей. Он был бы, пожалуй, красивым стариком, если бы у него вовсе не было зубов... Но у него был один-единственный зуб, и зуб этот, по временам высывавшийся изо рта, придавал ему зловещий вид. Он встретил доктора и его спутников со старосветской церемонностью и

подвел их к двум другим черным фигурам, неподвижно сидевшим в углу. Одна из них показалась Пэйну как нельзя более подходящей к этим мрачным покоям. Это был католический священник, как бы вынырнувший из средневековья. Пэйн живо нарисовал его себе бормочущим молитвы, перебирающим четки или занимающимся каким-нибудь другим меланхолическим делом в этом меланхолическом месте. Внешность у священника была весьма незначительная; его лицо, круглое и спокойное, ничего не выражало. Зато к женщине это определение никак не подходило. Меньше всего ее лицо можно было бы назвать незначительным. Оно выделялось на темном фоне платья, волос и кресла своей почти устрашающей бледностью и почти устрашающей красотой. Пэйн долго не мог отвести от него глаз.

Вуд обменялся с хозяевами несколькими пустыми и вежливыми фразами, имевшими непосредственное касательство к цели его посещения — экспертизе картин. Он извинился за то, что позволил себе явиться в замок в день большого семейного торжества — приезда австралийского кузена. Впрочем, он скоро убедился, что приход его и его спутников оживил замок и даже несколько развлек мисс Дарнэуей. Поэтому он, не колеблясь, провел Пэйна в смежную с залом библиотеку. Там висел портрет, который он хотел показать своему коллеге — не как произведение искусства, а скорей, как загадку. Маленький священник засеменил в библиотеку вслед за ними; по видимому, он разбирался в старинных картинах не хуже, чем в старинных молитвах.

— Я горжусь, что нашел эту картину! — сказал Вуд. — Я уверен, что это Гольбейн. А если не Гольбейн, то какой-нибудь его современник, еще более гениальный, чем он.

Портрет был написан в свойственной той эпохе манере — грубо, но искренно и чрезвычайно жизненно. Он изображал мужчину в черном платье, отороченном золотом и мехом, с тяжелым, крупным белым лицом и внимательными глазами.

— Какая жалость, что искусство не остановилось навеки в ту переходную эпоху! — воскликнул Вуд. — Зачем ему было переходить куда-то? Вы видите, это лицо как раз достаточно реалистично, чтобы быть реальным! Обратите внимание: оно тем более выразительно, что окружающие его второстепенные предметы написаны неумело и наивно! А глаза? Они, еще реальнее, чем лицо! Клянусь богом, они по-моему, даже слишком реальны для лица! Можно подумать, что они из него вот-вот вылезут.

— Фигура плохо написана, — заметил Пэйн. — В конце средних веков художники были еще недостаточно знакомы с анатомией, — в особенности северные. Левая нога никуда не годится.

— Я с вами не согласен — спокойно сказал Вуд. — Средневековые мастера, работавшие на заре реализма, были сплошь да рядом большие реалисты, чем мы думаем. Вы, пожалуй, скажете, что на этом портрете одна бровь выше другой, но я готов держать пари, что, если бы вы были знакомы с этим парнем лично, вы заметили бы, что у него фактически одна бровь выше другой. И я не удивился бы, если бы он

оказался хромым, и художник сознательно вывернул ему ногу.

— Как он выглядит! Что за старый черт! — внезапно воскликнул Пэйн. — Простите, пожалуйста, ваше преподобие, за резкое выражение.

— Ничего, я верю в черта, — сказал священник с непроницаемым лицом. — Кстати, согласно преданию, черт был хромым.

— Уж не хотите ли вы сказать, что это сам черт и есть? Между прочим, кто это такой?

— Лорд Дарнэуей, современник Генриха VII и Генриха VIII, — ответил Вуд. — О нем тоже существуют забавные предания. Одно из них изложено в виде надписи на раме этого портрета. Еще более подробный вариант я нашел здесь в одной книжке. Стоит прочесть и то и другое.

Пэйн наклонился к раме и с трудом, по складам прочел следующее четверостишие:

В седьмом потомке я воскресну
И в семь часов опять исчезну.
Таков мой рок, и горе той,
Кто станет вновь моей женой.

— Звучит жутковато, — заметил Пэйн. — Впрочем, это, может быть, потому, что я ни слова не понял.

— Если бы вы даже поняли эту надпись, она все равно показалась бы жуткой, — тихо сказал Вуд. — Согласно позднейшей записи, найденной мной в старой книге, этот человек покончил с собой таким образом, что его жена была заподозрена в убийстве и

казнена. Вторая запись рассказывает о другой трагедии, имевшей место через семь поколений: в царствование короля Георга еще один Дарнэуей покончил с собой, предварительно насыпав яду в винный бокал своей жены. Говорят, что оба самоубийства имели место ровно в семь часов. По-моему, тут дело в том, что этот Дарнэуей воскресает в каждом седьмом потомке и, как гласит надпись, делает гадость женщине, имевшей глупость выйти за данного потомка за муж.

— В неприятном положении окажется очередной седьмой потомок, — заметил Пэйн.

Вуд сказал еще тише:

— Нынешний наследник как раз седьмой. — Гарри Пэйн внезапно расправил грудь и плечи, как человек, сбрасывающий тяжелый груз.

— Какой мы чепухой занимаемся! — воскликнул он. — Мы все интеллигентные люди и живем в двадцатом столетии! До того, как я попал в это проклятое заплесневелое логово, я только смеялся над подобной чушью.

— Вы правы, — сказал Вуд, — если бы вы подольше жили в этом подземном замке, вы стали бы воспринимать все окружающее совсем иначе. Я заинтересовался этим портретом, когда я перевешивал его. Мне с ним пришлось много повозиться. Иногда мне кажется, что это нарисованное лицо живее мертвых лиц здешних обитателей, что оно талисман или магнит... что оно повелевает стихиями и судьбами людей и предметов. Вы, вероятно, назовете это фантастикой...

— Что это за шум? — внезапно спросил Пэйн.

Все прислушались, но сначала ничего не услышали, кроме глухого ропота приборя. А потом им почудилось, что к этому ропоту примешивается еще какой-то звук; казалось, что кто-то старается перекрычать приборя. Сперва шум волн заглушал голос, потом он слышался явственнее. Через несколько секунд уж не оставалось места сомнению: на берегу кто-то кричал.

Пэйн повернулся к окну и наклонился, чтобы выглянуть из него. Это было то самое окно, в которое был виден только ров, отражающий небо и каменные ступени двора. Однако, теперь он отражал нечто совершенно новое для Пэйна. С отраженных ступеней в воду свисали отраженные ноги человека, стоявшего, по-видимому, на ступенях. В узкое окошко Пэйн видел только эти черные ноги, резко вычерченные на фоне бледного заката. Головы человека не было видно, она была как бы в облаках, и это обстоятельство придавало особенную таинственность его крику; он выкрикивал какие-то слова, которых ни Пэйн, ни его спутник не могли как следует расслышать. Пэйн высунулся из окошка с изменившимся лицом и сказал изменившимся голосом:

— Как он странно стоит!

— Нет, нет, — сказал Вуд успокоительным шепотом. — В отраженном виде это часто так выглядит. Вода зыблется, а вам кажется...

— Что кажется? — коротко спросил священник.

— Что он хром на левую ногу, — ответил Вуд.

Овальное окно все время казалось Пэйну магическим зеркалом. У него было такое впечатление, будто в этом зеркале — отражаются многие неисповедимые судьбы. Помимо человеческой фигуры, он видел в нем еще нечто такое, чего он не понимал: три длинных, тонких ноги резко выделялись на светлом фоне, словно рядом с незнакомцем стоял какой-то исполинский трехногий паук. Эта сумасшедшая ассоциация вскоре сменилась другой — более жизненной: он подумал о треножниках языческих оракулов. А через несколько секунд и таинственный треножник и человеческие ноги исчезли из его поля зрения.

Он повернулся и увидел бледное лицо Вайна. Рот старика-дворецкого, из которого торчал один единственный зуб, был широко раскрыт.

— Он приехал, — пролепетал Вайн. — Пароход прибыл из Австралии сегодня утром.

Переходя из библиотеки в центральный зал, они услышали шаги приезжего, поднимавшегося по лестнице и тащившего за собой свой, по-видимому, не слишком большой багаж. Когда Пэйн увидел этот багаж, он облегченно рассмеялся. Таинственный треножник оказался всего-навсего складным штативом фотографического аппарата, и человек, несший его, ничем не отличался от всех нормальных людей. Он был одет в темный костюм, сидевший на нем довольно мешковато, и серую фланелевую рубашку, а башмаки его громыхали весьма непочтительно по паркету мертвых покоев. Когда он двинулся дальше, чтобы поздороваться со своими родственниками, мож-

но было заметить, что он хромает, но хромает почти незаметно. Впрочем Пэйн и его спутники не обратили внимания на походку приезжего — их взоры были устремлены на его лицо.

Приезжий, как видно, сразу почувствовал, что его появление вызвало переполох и даже некоторый ужас. Но Пэйн мог поклясться, что он не знал причин этого странного приема. Девушка, с которой он был заочно помолвлен, была безусловно очень хороша собой и не могла не понравиться ему, но одновременно она пугала его — это было очевидно. Старик-дворецкий приветствовал его, точно феодального лорда, но в то же время обращался с ним, как с фамильным привидением. Священник глядел на него с непроницаемым и потому особенно таинственным лицом. Пэйн мысленно оценил всю жуткую иронию положения — иронию, напомнившую ему о греческой трагедии. Он все время предполагал увидеть в приезжем дьявола, а увидел нечто худшее: бессознательный рок. Казалось, что австралиец идет навстречу преступлению с чудовищной беспечностью Эдипа. Он вступил в родовой замок так беззаботно, словно он ничего не видел и явился сюда только для того, чтобы сфотографировать живописные руины. И даже сам фотографический аппарат с его штативом преобразился в треножник трагической пифии.

Когда Пэйн несколько позднее собрался уходить, он, к великому своему удивлению, понял, что австралиец гораздо лучше разбирается в окружающей его обстановке, чем можно было предполагать. Он наклонился к художнику и сказал ему шепотом:

— Не уходите... или поскорее приходите опять. Вы похожи на человека. Мне этот замок внушает ужас.

Выйдя из этих почти подземных зал на ночной воздух, пахнувший морем, Пэйн почувствовал себя так, словно вырвался из сонного царства, в котором события громоздились друг на друга в какой-то нелепой и нереальной чехарде. Приезд австралийца казался ему неудовлетворительным и каким-то неубедительным. Лицо приезжего — точная копия лица на старинном портрете — взволновало его. Этот человек казался ему двуглавым чудовищем. Однако не все виденное им в замке произвело на него впечатление кошмара, и не лицо австралийца запомнилось ему отчетливее всего другого.

— Вы говорите, — обратился он к доктору, с которым шел по темному песчаному берегу темнеющего моря, — вы говорите, что этот молодой человек помолвлен с мисс Дарнэуей на основании какого-то древнего семейного договора. Это похоже на роман.

— На исторический роман, — ответил доктор Барнет. — Род Дарнэуей заснул несколько столетий тому назад, когда жизнь действительно напоминала роман. Да, если я не ошибаюсь, у них существует традиция, по которой двоюродные и троюродные братья, достигнув определенного возраста, женятся на своих кузинах, чтобы удержать наследство в одних руках. Дурацкая традиция, доложу я вам! И, если такие кровосмесительные браки часто имели место в их семье, то их вырождение можно отнести всецело на счет дурной наследственности.

— Я не согласен с вами, — заметил Пэйн довольно сухо. — Не все они вырожденцы.

— Конечно, — сказал доктор, — молодой человек не выглядит дегенератом, хоть он и хромой.

— Молодой человек! — воскликнул Пэйн в припадке внезапного и совершенно необъяснимого гнева. — Знаете ли, если, по-вашему, мисс Дарнэуей — дегенератка, то у вас самих дегенеративный вкус.

Лицо доктора омрачилось.

— Мне кажется, что я знаю обо всем этом больше, чем вы, — сказал он коротко.

Они двинулись дальше в молчании. Каждый из них чувствовал, что вел себя грубо и, в свою очередь, стал жертвой грубого обращения. Вскоре они распрощались, и Пэйн еще долго размышлял в одиночестве о случившемся, так как его приятель Вуд остался в замке по какому-то делу, имевшему отношение к картинам.

Пэйн не преминул воспользоваться приглашением австралийца, нуждавшегося в поддержке живого человека. В течение ближайших нескольких недель он основательно познакомился с мрачными покоями замка Дарнэуей. Следует, впрочем, отметить, что он вовсе не думал посвящать себя целиком поддержке австралийского кузена. Меланхолическая молодая леди, по-видимому, еще больше нуждалась в поддержке и развлечении; во всяком случае, Пэйн проявлял величайшую готовность развлекать ее. Будучи, однако, человеком щепетильным, он порой чувствовал себя очень неловко и терзался сомнениями.

Недели проходили за неделями, но никто не мог решить по поведению молодого Дарнэуея, считает ли он себя связанным старинным семейным договором или нет. Он задумчиво бродил по темным галереям и подолгу стоял перед темным, мрачным портретом, глядя на него невидящими глазами.

Черные тени этого замка-тюрьмы, по-видимому, уже осеняли его своими крыльями, и его былая бодрость убывала с каждым днем. Тем не менее Пэйну никак не удавалось выяснить взгляд австралийца на то, что особенно интересовало его самого. Однажды он попытается посвятить в свои сомнения Мартина Вуда. Но разговор, имевший место в галерее, где Вуд развешивал картины, весьма мало удовлетворил его.

— По-моему, вам туда нечего соваться, раз они помолвлены, — коротко сказал ему Вуд.

— Да я и не сунусь, если они помолвлены, — возразил Пэйн. — Но помолвлены ли они? Я, разумеется, не говорил ей еще ни слова. Но я достаточно долго наблюдал ее. И я уверен, что она и не думает о помолвке, если даже помолвка и существует. И он тоже как воды в рот набрал. По-моему, это нечестно — так упорно откладывать это дело в долгий ящик.

— Особенно нечестно по отношению к вам, правда? — заметил Вуд довольно ехидно. — Хотите, я вам скажу, что я обо всем этом думаю? Я думаю, что он просто-напросто боится.

— Боится, что ему откажут? — спросил Пэйн.

— Нет, боится, что ему дадут согласие, — ответил Вуд. — Подождите, не набрасывайтесь на меня! Я не

то хочу сказать! Он боится не мисс Дарнэуей; он боится портрета.

— Боится портрета? — переспросил Пэйн.

— Вернее, боится проклятия, связанного с портретом. Помните те стишки относительно судьбы рода Дарнэуей?

— Но послушайте! — воскликнул Пэйн. — Ведь даже роковая судьба рода Дарнэуей не может предусмотреть все возможности! Сначала вы сказали, что я не могу на ней жениться из-за семейного договора. А теперь вы говорите, что семейный договор не может быть выполнен из-за этого проклятья. Но ведь если проклятие может воспрепятствовать выполнению договора, то с какой стати мисс Дарнэуей держаться за этот договор? Если оба они боятся брака, то пусть они расходятся, и дело с концом! С какой стати я должен больше считаться с их семейными традициями, чем они сами? Нет, по-моему, вы совершенно неправы.

— Конечно, тут дело путаное, — коротко ответил Вуд и вновь принялся стучать своим молотком по подрамнику.

И вот в одно прекрасное утро австралийский кузен нарушил обет молчания. Сделал он это довольно примитивно, как все, что он делал, но было очевидно, что он руководствовался самыми благими намерениями. Он откровенно обратился за советом — но не к одному лицу, как Пэйн, а к целому собранию. Излагая свои сомнения, он обращался сразу ко всей аудитории, как государственный деятель на предвыборном собрании. К счастью, мисс Дарнэуей не уча-

ствовала в этом совещании; и Пэйн содрогался, когда думал о том, что она должна испытывать. Но австралиец был абсолютно честен; считая совершенно естественным обратиться к близким друзьям за помощью, он созвал нечто вроде семейного совета и выложил — вернее сказать, выбросил — все свои карты на стол. Сделал он это с отчаянным видом человека, который уже много дней и ночей бьется над неразрешимой проблемой. В сравнительно короткое время мрачные тени, витающие под низкими сводами замка, изменили его настроение и усилили сходство с портретом — сходство, которое всех так поражало. Совет, состоявший из пяти человек, включая доктора, заседал за круглым столом. И Пэйн лениво думал о том, что его серый костюм и рыжие волосы — единственное яркое пятно в этой комнате. Ибо священник и дворецкий были в черном, а Вуд и Дарнэуей носили темно-серые костюмы, казавшиеся черными. Может быть, именно поэтому австралиец называл его «единственным живым человеком в замке».

Молодой Дарнэуей резко повернулся в кресле и заговорил:

— Есть ли во всем этом хоть капля истины? Вот вопрос, который я задавал себе до тех пор, пока не почувствовал, что схожу с ума. Я никогда не предполагал, что меня могут волновать такие вещи. И вот я все время думаю о портрете, о надписи, обо всем прочем, и меня мороз по коже подирает. Действительно ли существует судьба рода Дарнэуей или это только глупое совпадение? Имею ли я право жениться, или

в тот момент, когда я женюсь, небо разверзнется и на меня или на мою жену низвергнется нечто черное, огромное, неведомое?

Его взгляд растерянно блуждал по лицам сидевших за столом и наконец остановился на спокойном лице священника, к которому, казалось, была обращена его речь. Трезвый ум Пэйна был возмущен тем, что молодой человек, борющийся со своим суеверием, прибегает к помощи представителя самого черного суеверия. Он сидел рядом с австралийцем и заговорил прежде, чем священник успел собраться с мыслями.

— Да, совпадение удивительное, с этим я согласен, — сказал он, стараясь говорить беззаботно и бодро, — но, конечно, мы... — И вдруг он замолк, точно пораженный молнией. Дарнэуей быстро повернул голову в его сторону, когда он заговорил, высоко вздернул левую бровь, — и на Пэйна глянуло лицо с портрета. Сходство было поистине ужасающее. Все прочие тоже заметили его; у всех был такой вид, словно перед ними на мгновение вспыхнул ослепительный свет. Старик-дворецкий глухо застонал.

— Ох, как нехорошо, — пробормотал он хрипло, — тут творятся ужасные вещи!

— Да, — тихо сказал священник, — творятся ужасные вещи. И имя самой ужасной из них — абсурд.

— Что вы сказали? — спросил Дарнэуей, все еще глядя на него.

— Я сказал — абсурд, — ответил священник. — Я до сих пор молчал, потому что все, что здесь происходило, меня не касалось. Я был тут по соседству по

делам, и мисс Дарнэуей пригласила меня к себе в замок. Но, раз вы обращаетесь за советом ко мне непосредственно, то мне нетрудно будет вам ответить. Разумеется, никакая роковая судьба рода Дарнэуей не может вам воспрепятствовать жениться на любой девушке, на которой вам заблагорассудится жениться. Ни одного человека на свете рок не может вовлечь ни в какой заслуживающий прощения грех, не говоря уже о таких преступлениях, как самоубийство и убийство. Никто не может заставить вас совершить преступление помимо вашей воли только потому, что ваша фамилия Дарнэуей, точно так же как меня потому, что моя фамилия — Браун. «Рок Браунов», — прибавил он мечтательно, — звучит даже гораздо лучше.

— И это говорите вы! — в недоумении воскликнул австралиец.

— Да, именно я. И именно так я советую вам относиться ко всему, что тут происходит, — весело сказал священник. — Что стало с великим искусством — фотографией? Как обстоят дела с вашим аппаратом? Я знаю, в вашем замке довольно темно, но верхний этаж с его широкими сводами можно приспособить под первоклассное фотографическое ателье. Несколько человек рабочих устроят вам там стеклянную крышу в два-три дня.

— Знаете, — вмешался Мартин Вуд, — мне казалось, что именно вы не захотите портить вид этих изумительных готических сводов. Ведь это лучшее, что создала ваша религия за все время своего существования. Я думал, что вы должны питать склон-

ность к этому стилю. Откуда у вас такое пристрастие к фотографии?

— У меня пристрастие к солнечному свету, — ответил патер Браун, — а у фотографии есть то достоинство, что она немыслима без солнечного света. И если вы не понимаете, что я готов разнести вдребезги все готические своды мира ради одного человеческого рассудка, то вы ничего во мне не понимаете.

Австралиец вскочил на ноги, точно его воскресили.

— Вот это дело, честное слово! — воскликнул он. — Право, не ожидал я этого от вас! И вот что, ваше преподобие: я вам докажу, что у меня еще есть мужество!

Старик-дворецкий все еще не сводил с него испуганного и внимательного взора, словно в вызывающем поведении молодого человека было что-то сверхъестественное.

— Что вы намерены делать? — воскликнул он вдруг.

— Я намерен сфотографировать портрет, — ответил Дарнэуей.

Только через неделю разразилась катастрофа. Подобно грозовой туче заволокла она солнце разума, к которому тщетно звал своих собеседников священник, и погрузила древний замок и всех его обитателей в роковой мрак рода Дарнэуей.

Оборудовать ателье было нетрудно. Пустое, пронизанное солнечными лучами, оно было похоже внутри на всякое другое фотографическое ателье. Но у человека, попадавшего в него из сумрачных покоев

нижнего этажа, создавалось впечатление, будто он сразу перешел из темного прошлого даже не в настоящее, а в пустое и яркое будущее.

По предложению Вуда, хорошо знавшего замок и преодолевшего свои эстетические навыки, небольшая комната в верхнем этаже была превращена в лабораторию, куда Дарнэуей уходил от дневного света, чтобы при свете красной лампочки заниматься приготовлениями к съемке. Вуд, смеясь, говорил, что красная лампочка примирила его, с совершенным вандализмом, ибо погруженная в багровый сумрак комната была не менее романтична, чем пещера алхимика.

И вот настал день съемки. Дарнэуей встал с первыми лучами солнца и перенес портрет из библиотеки в ателье по единственной винтовой лестнице, соединявшей верхний и нижний этажи. Там он поставил его на мольберт прямо перед окном и установил напротив него свой треножник. Он все время говорил, что пошлет фотографию некоему антиквару, запрашивавшему его о древностях замка Дарнэуей; но все они понимали, что это только отговорка, за которой кроются значительно более глубокие мотивы. То была настоящая бескровная дуэль — если не между Дарнэуеем и демоническим портретом, то между Дарнэуеем и его собственными сомнениями. Он хотел столкнуть лицом к лицу трезвую правду фотографического аппарата с колдовскими чарами этой странной картины. Он хотел посмотреть, не рассеют ли солнечные лучи нового искусства мрачные тени старого.

Может быть, именно поэтому он упорно отказывался от чьей бы то ни было помощи, хотя это и вызвало некоторую задержку. Впрочем, он все время успокаивал и подбодрял немногих любопытных, посетивших в день эксперимента ателье, где он в полном одиночестве возился со своим аппаратом. Он отказался спуститься вниз к обеду, и дворецкий понес ему тарелки наверх. Через несколько часов старик пришел за ними и убедился, что аппетит у Дарнэуея отнюдь не пропал. Однако, когда он убирал тарелки, Дарнэуей не поблагодарил его, а лишь пробурчал нечто нечленораздельное. Пэйн тоже заглянул в ателье — посмотреть, как идут дела, но, убедившись, что фотограф не склонен вступать с ним в беседу, вскоре спустился вниз. Патер Браун тоже пытался проникнуть в ателье, чтобы передать австралийцу письмо от антиквара, которому должна была быть послана фотография. Но и ему не удалось поговорить с Дарнэуеем. Он оставил письмо на подносе и ушел, думая об этой большой стеклянной комнате, полной солнечного света и упорного фанатизма. Ведь до известной степени это был им же самим созданный мир. Но он ни с кем не поделился своими мыслями. Очень скоро ему довелось вспомнить о том, что он был последний, кто спустился по винтовой лестнице, оставив позади себя пустую комнату, а в пустой комнате одинокого человека. Все прочие — обитатели замка и гости — собрались в смежной с лабораторией маленькой гостиной под огромными часами из черного дерева, напоминавшими исполинский гроб.

— Ну, что слышно у Дарнэуея? — спросил Пэйн несколько позже. — Ведь вы же там недавно были.

Священник провел рукой по лбу.

— Вы, пожалуй, скажете, что я стал мистиком, — произнес он с грустной улыбкой. — По-видимому, у меня закружилась голова от яркого света — я ничего не мог разглядеть как следует. Честное слово, мне на секунду почудилось что-то необычное в фигуре Дарнэуея, стоявшего перед портретом.

— Это из-за его хромой ноги, — сказал Барнет. — Ведь мы все это знаем.

— Знаете, — довольно резко перебил его Пэйн, понизив голос, — я не думаю, чтобы вы много знали. По-моему, мы вообще ничего не знаем. Что с его ногой? Что было с ногой его предка.

— Я нашел в семейном архиве книгу, которая мне много разъяснила, — сказал Вуд. — Сейчас я ее вам принесу. — И он пошел в библиотеку.

— Мне кажется, — спокойно сказал патер Браун, — что у мистера Пэйна есть веские основания задавать подобный вопрос.

— Я могу сказать вам прямо, какие у меня есть основания, — ответил Пэйн еще тише. — В конце концов, это вполне естественное объяснение. Любой человек может придать себе сходство с портретом. Что мы знаем об этом Дарнэуе. Ведет он себя довольно странно...

Все присутствующие удивленно посмотрели на говорившего. Только священник остался по-прежнему спокоен.

— Я думаю, с этого портрета еще ни разу не снимали фотографии, — сказал он. — И поэтому он хочет сфотографировать его. Что тут странного?

— Разумеется, все очень просто, — улыбаясь, сказал Вуд; он как раз вернулся в комнату с книгой в руках. Не успел он договорить, как старинные черные часы за его спиной захрипели, и семь тяжелых ударов прокатились по комнате. И тотчас же вслед за последним ударом в верхнем этаже раздался грохот, потрясший весь дом, точно удар грома. В ту же секунду патер Браун бросился к винтовой лестнице.

— Господи! — невольно крикнул Пэйн. — Ведь он там один!

— Да, — сказал патер Браун, — мы найдем его одного.

Когда все остальные пришли в себя и, сломя голову, бросились по лестнице в ателье, они убедились, что патер Браун был до известной степени прав. Они нашли Дарнэуея лежащим на полу среди обломков фотографического аппарата; длинные ножки опрокинутого штатива смешно и жутко торчали в воздухе под тремя разными углами; а четвертый угол образовала странно вывернутая нога Дарнэуея, лежащего поверх штатива. На мгновенье эта темная груда показалась вошедшим неким чудовищным, гигантским пауком. Достаточно было одного взгляда и прикосновения, чтобы убедиться: Дарнэуей был мертв. Только портрет стоял нетронутый на мольберте, и можно было подумать, что его насмешливые глаза сверкают.

Часом позже патер Браун, пытавшийся водворить порядок в переполошенном доме, наткнулся на старика-дворецкого, бессмысленно бормотавшего какие-то слова. Почти не прислушиваясь, священник догадался, что он бормочет роковые стихи:

В седьмом потомке я воскресну
И в семь часов опять исчезну...

Он хотел сказать ему несколько слов в утешение, но старик внезапно отпрянул, как бы загоревшись гневом.

— Вы! — крикнул он бешено. — Вы и ваш дневной свет! Ну, что вы теперь скажете? Верите вы теперь в судьбу рода Дарнэуей, или нет?

— Я остаюсь при своем мнении, — мягко ответил патер Браун. — Я надеюсь, — прибавил он, помолчав, — что вы исполните последнюю волю Дарнэуея и отошлете фотографию куда следует.

— Отослать фотографию? — резко вмешался доктор. — Какой в этом смысл? Да, кроме того, никакой фотографии и нет. Хоть он и хлопотал в ателье весь день, но ничего не успел сделать.

Патер Браун порывисто повернулся.

— Тогда сделайте снимок вы, — сказал он. — Бедняга Дарнэуей был совершенно прав. Снимок надо сделать. Это крайне важно!

Покинув замок и медленно шагая по желтому прибрежному песку, доктор, священник и оба художника молчали, совершенно оглушенные разразившейся катастрофой. И действительно, осуществление древнего пророчества в тот самый час, когда все

о нем забыли, было подобно грому с ясного неба. Оно обрушилось как раз тогда, когда доктор и священник наполнили души рационализмом, как злополучный фотограф наполнил свое ателье дневным светом. Теперь они могли сколько угодно кичиться этим своим рационализмом; все равно он был поколеблен: ибо в ярком свете дня вернулся седьмой потомок и в ярком свете дня, в семь часов он погиб.

— Боюсь, что теперь все окончательно уверуют в роковую судьбу рода Дарнэуей, — промолвил Мартин Вуд.

— Только не я, — резко ответил доктор. — Самоубийство помешанного дегенерата — еще не причина, чтобы стать суеверным.

— Вы думаете, что мистер Дарнэуей покончил с собой? — спросил священник.

— Я в этом уверен, — ответил доктор...

— Что ж, возможно, — промолвил священник. — Он был один в ателье, и в его распоряжении было множество всевозможных ядов. Кроме того, это как раз в стиле Дарнэуеев.

— Стало быть, вы полагаете, что его смерть не имеет ничего общего с родовым проклятьем?

— Я полагаю, что существует только одно родовое проклятие, — ответил доктор. — И это проклятье — наследственность. Все Дарнэуеи — полупомешанные. Если вы будете так вариться и гнить в собственном соку, как они, то вы неминуемо выродитесь — хотите вы этого или нет. Законы наследственности непоколебимы. Научную истину нельзя опровергнуть. Рассудок рода Дарнэуей гниет и развали-

ваются, как гниет и разваливается их родовой замок, разъедаемый водой и соленым воздухом. Я уверен, что он покончил с собой. Более того, я уверен, что рано или поздно они все покончат с собой. Быть может, это — лучшее, что они могут сделать.

Пока доктор говорил, в памяти Пэйна с внезапной, потрясающей ясностью возникло лицо мисс Дарнэуей — бледная, трагическая маска на беспророчно-черном фоне, отмеченная печатью какой-то неземной, бессмертной красоты. Он открыл рот, чтобы заговорить, и не нашел нужных слов.

— Так, — обратился к доктору патер Браун. — Теперь я вижу, что вы тоже человек суеверный.

— То есть как это суеверный? Для меня это самоубийство является логическим следствием вполне закономерного, с точки зрения науки, процесса.

— А вот я и не вижу никакой разницы между вашим научным суеверием и суеверием спиритов, — ответил священник. — И то и другое превращает людей в паралитиков, неспособных шевельнуть ни рукой, ни ногой, неспособных без посторонней помощи позаботиться о своей жизни и душе. Те стихи на рамке портрета говорят, что судьба рода Дарнэуей — быть убитыми, а ваш научный псалтирь говорит, что их судьба — убивать себя. И в том и в ином случае они рабы.

— Но вы, кажется, говорили, что вы рационалист, — возразил доктор Барнет. — Вы не верите в наследственность?

— Я сказал, что я верю в дневной свет, — громким и ясным голосом ответил священник. — И я не же-

лаю выбирать между двумя подземными ходами кротовых суеверий — оба они заведут меня в темный тупик. И вот вам доказательство: вы все понятия не имеете о том, что в действительности случилось в замке Дарнэуей.

— Вы говорите о самоубийстве? — спросил Пэйн.

— Я говорю об убийстве, — ответил патер Браун, и отзвук его негромкого, в сущности, голоса прокатился, казалось, по всему берегу. — Это было убийство, совершенное человеком, чья воля была свободна.

Пэйн не расслышал, что ответил патеру Брауну доктор, ибо слова священника произвели на него странное впечатление; они взволновали его, точно звук трубы, и в то же время заставили застыть на месте. Он остановился посреди песчаной полосы и пропустил своих спутников вперед. Он чувствовал, как кровь бежит все сильнее и сильнее по его жилам, ему казалось, что волосы его встают дыбом в буквальном смысле этого слова. И одновременно он испытывал какую-то неведомую и неестественную радость. Некий психологический процесс — слишком быстрый и сложный, чтобы проследить его, — разрешился в мозгу Пэйна выводом, еще не поддающимся анализу, но принесшим художнику громадное облегчение. Он постоял еще секунду на берегу, потом повернулся и медленно пошел по направлению к замку.

Он прошел по мосту твердыми, уверенными шагами, спустился вниз по ступеням и миновал амфиладу гулких покоев. Аделаида Дарнэуей сидела в зыбком ореоле овального окна; она была похожа на

какую-то забытую в стране смерти святую. Он подошел к ней; она подняла на него глаза, и удивление, выразившееся в них, сделало ее лицо еще более удивительным.

— Что произошло? — спросила она. — Почему вы вернулись?

— Я вернулся за спящей красавицей, — ответил он, и смех задрожал в его голосе. — Доктор прав: этот старый замок спит давным-давно. Но ведь вы-то не старая! Идемте со мной, идемте к свету, выслушайте правду! Я хочу сказать вам одно слово. Это — страшное слово, но оно разобьет чары, сковывающие вас.

Она не поняла ни слова из того, что он говорил ей. Но что-то заставило ее встать; она позволила вывести себя из замка на свежий воздух, под вечернее небо. Развалины мертвого сада тянулись к морскому берегу; старинный фонтан с зеленой обомшелой фигурой тритона маячил в полутьме, проливая невидимую и неосязаемую воду в пустой бассейн. Пэйн часто видел по дороге в замок унылый силуэт этого тритона на фоне вечернего неба, и ему всегда казалось, что он — лучший символ гибнущего рода. «Не сомненно, — думал он, — пустой бассейн когда-нибудь вновь наполнится водой, но то будет бледно-зеленая, горькая морская вода; и морские водоросли задушат цветы этого сада. И точно так же, — говорил он себе, — Аделаида Дарнэуей будет обручена, но суженым ее будет смерть, немая и бездонная, как море».

Но теперь он положил свою руку, казавшуюся рукой великана, на бронзовое плечо тритона и потряс

его так, точно ему хотелось сбросить с пьедестала это злое божество мертвого сада.

— Что вы хотели сказать? — настаивала Аделаида Дарнэуей. — Какое слово освободит нас?

— Это слово — «убийство», — ответил он. — И свобода, которую оно несет вам, свежа, как весенние цветы. Нет, нет! Я никого не убил! Я не это хочу сказать. Но уже сознание того, что кого-то можно убить, — благая весть для вас после всех злых чар, у которых в плену вы находились. Вы меня не понимаете? В том царстве грез, в котором вы жили, все, что происходило, исходило от вас же самих. Рок Дарнэуеев зародился в душах самих Дарнэуеев. Он созревал и распускался, как чудовищный цветок. Выхода не было, никакая счастливая случайность не могла вас спасти. Все было неизбежно — как бабьи рассказы старика Вайна, так и новоиспеченная наследственность Барнета. Но австралиец Дарнэуей не был жертвой ни древнего проклятья, ни наследственного помешательства. Он был убит, и для нас это убийство — счастливая случайность. Да, да, *requiescat in pace*, но это была счастливая случайность! Эта катастрофа была лучом дневного света, ибо она пришла снаружи.

Она внезапно улыбнулась.

— Да... Кажется, я понимаю. Вы говорите, как помешанный, но я понимаю. Но кто же убил его?

— Не знаю, — ответил он спокойно, — но патер Браун знает. И он говорит, что убийство было совершено человеком с волей, свободной, как этот морской ветер.

— Патер Браун — удивительный человек, — сказала она, помолчав. — Он единственный, кто скрашивал мне жизнь до тех пор, пока...

— Пока что? — спросил Пэйн, нетерпеливо склоняясь к ней.

— Пока не пришли вы, — сказала она и опять улыбнулась.

Так проснулся заколдованный замок. Мы не станем останавливаться на подробностях этого пробуждения, хотя многое еще произошло до того, как ночь спустилась на берег моря. Когда Гарри Пэйн шел домой по темному песку, по которому он столько раз брел подавленный и несчастный, он был счастлив, как только может быть счастлив смертный. Теперь ему ничего не стоило вообразить себе этот сад вновь пышно расцветшим, бронзового тритона — юным золотым божком, бассейн — полным воды или вина. Но все это счастье расцвело для него из одного слова «убийство», и этого слова он до сих пор еще не понимал. Он принял его на веру и поступил совершенно правильно; ибо он принадлежал к тем людям, которые чутки к самому звуку правды.

Только через месяц Пэйн вернулся в Лондон, чтобы повидаться с патером Брауном. Он захватил с собой снимок с портрета. Его роман протекал вполне благополучно, насколько это было возможно после трагедии, имевшей место в замке. Сама трагедия казалась ему теперь уже не такой страшной, благодаря его личному благополучию. Он был очень занят приведением в порядок замка, и, только когда жизнь в последнем вошла в колею и роковой портрет был

перенесен обратно в библиотеку, он удосужился сфотографировать его с помощью магния. Прежде чем отправить снимок антиквару, он повез его к священнику, который очень интересовался им.

— Я не могу понять вашего поведения, патер Браун, — были первые слова художника, когда они встретились. — Вы ведете себя так, словно вы уже давным-давно разрешили эту проблему.

Священник задумчиво покачал головой.

— Нисколько, — ответил он. — Вероятно, я очень тупой человек, но я ничего не понимаю. Я не понимаю одной детали — самой существенной во всем деле. Странное это дело! Все так просто до известной точки, а дальше... Ну-ка, дайте мне взглянуть на снимок.

Он поднес фотографию к своим прищуренным близоруким глазам, потом сказал:

— Нет ли у вас лупы?

Пэйн подал ему лупу. Священник несколько секунд пристально глядел в нее.

— Посмотрите-ка на снимок! Видите корешок книги — вот тут на полке, с краю? На нем написано «История папы Иоанна», правда? Так вот, меня интересует... Ага! А вон, та над ней, — что-то насчет Исландии, так? Господи, как все забавно выяснилось! Какой же я был дурак, что ничего не заметил сразу!

— Что же выяснилось? — нетерпеливо спросил Пэйн.

— Я нашел последнее недостающее звено, — ответил патер Браун. — Теперь мне все понятно. Да,

теперь я, кажется, могу восстановить всю эту трагическую историю с начала до конца.

— Каким образом?

— Да просто потому, что в библиотеке замка Дарнэуей имеются книги о папе Иоанне и об Исландии, — ответил священник, улыбаясь. — Есть еще на снимке корешок книги с надписью «Религия Фридриха...» Окончания не видно, но о нем не так трудно догадаться.

Заметь, что художник хмурится, он перестал улыбаться и продолжал более серьезно:

— Впрочем, этот последний пункт все же нельзя назвать самым существенным. В этом деле были еще более курьезные детали. Разрешите мне сразу же огоршить вас. Дарнэуей умер вовсе не в семь часов вечера. Он был мертв с утра.

— «Огоршить» — слишком мягкое выражение, — гневно сказал Пэйн. — Ведь мы же оба видели его незадолго до его смерти.

— Нет, мы не видели его, — ответил патер Браун. — Не правда ли, мы оба видели (или думали, что видим) его хлопочущим над аппаратом? Но не была ли его голова покрыта черным капюшоном, когда вы заходили в комнату? Когда я заходил, она была им покрыта. И вот почему мне тогда показалось, что в комнате и в фигуре Дарнэуея не все благополучно. Дело тут было не в его хромой ноге, а скорее в том, что у него не было хромой ноги. Знаете ли, если вам придется увидеть человека, пытающегося принять позу, свойственную другому человеку, то вам сразу

же бросится в глаза некоторая напряженность и неестественность всей его фигуры.

— Неужели вы хотите сказать, что это был кто-то другой? — вскричал Пэйн, невольно содрогаясь.

— Это был убийца, — ответил патер Браун. — Он убил Дарнэуея еще на заре, потом спрятал труп и сам спрятался в темной комнате. Идеальный тайник! Ведь никто обычно туда не заходит, а если и зайдет, то ничего не увидит. А в семь часов он бросил труп на пол ателье, и, таким образом, смерть была объяснена родовым проклятием.

— Не понимаю, — заметил Пэйн. — Почему же он не убил Дарнэуея ровно в семь, вместо того чтобы возиться с трупом четырнадцать часов?

— Разрешите мне ответить вам вопросом на вопрос, — ответил священник. — Почему не была снята фотография? Потому что преступник поспешил убить Дарнэуея прежде, чем тот успел сделать снимок. Для убийцы было чрезвычайно важно, чтобы этот снимок не попал в руки знатока-антиквара.

На мгновение воцарилась тишина, потом священник продолжал, понизив голос:

— Неужели вы не видите, как все это просто? Да ведь одну часть дилеммы вы сами разгадали! Но все в целом было еще проще, чем вы думали. Вы сказали, что любому человеку ничего не стоит придать себе сходство со старинным портретом. Но ведь еще легче придать старинному портрету сходство с любым человеком! Короче говоря: рока Дарнэуеев вообще никогда не существовало. Не было никакого

старинного портрета; не было никаких старинных стихов; не было никакой легенды о человеке, бывшем причиной смерти своей жены. Но был очень скверный и очень умный человек, задумавший убийство другого человека, чтобы отнять у него его будущую жену.

Священник внезапно улыбнулся Пэйну грустной и в то же время ободряющей улыбкой.

— Вы, вероятно, думаете, что я вас имею в виду, — сказал он, — но дело в том, что не вы один посещали замок Дарнэуей ради его прекрасной обитательницы. Вы знаете человека, о котором я говорю, или, вернее, думаете, что знаете его. В душе человека, именуемого Мартином Вудом, художника и антиквара, есть бездны, о которых не догадывается никто из его товарищей-художников. Вспомните, что его пригласили в замок для экспертизы картин и составления полной описи их. В таком аристократическом вороньем гнезде это значит просто: «Скажите нам, какими сокровищами мы обладаем». Дарнэуей несколько не удивились бы, если бы узнали, что в замке есть вещи, о существовании которых они не имели понятия. Экспертизу нужно было произвести добросовестно, и он и произвел ее вполне добросовестно. Он, возможно, был прав, когда говорил, что этот портрет написан если не самим Гольбейном, то художником, равным ему по гению.

— Я потрясен, — сказал Пэйн, — и мне хочется задать вам еще десяток вопросов. Откуда Вуд знал, как выглядит Дарнэуей? И как он убил его? Ведь врачи до сих пор ничего не понимают.

— Я видел у мисс Аделаиды фотографию, которую австралиец прислал еще до своего приезда, — ответил священник, — а остальное Вуду не трудно было добавить впоследствии. Возможно, что нам до сих пор известны еще не все детали, но они уже тогда были для меня несущественны. Вспомните: он обычно помогал австралийцу работать в темной комнате. По-моему, ничего нет легче, чем уколоть в такой комнате человека отравленной иглой, в особенности, когда под рукой столько разных ядов. Нет, нет, повторяю, все это не представляло для меня никаких трудностей. Совсем другой вопрос смущал меня: каким образом Вуду удалось сразу быть в двух местах? Как он попал в темную комнату и бросил оттуда труп вниз с тем расчетом, чтобы он через несколько секунд опрокинул фотографический аппарат, когда он одновременно находился в библиотеке и искал там книгу? И, представьте себе, я был таким дураком, что ни разу не удосужился поглядеть внимательно на библиотечные книги! И только благодаря совершенно незаслуженной мною счастливой случайности, только благодаря вот этой фотографии, я узнал, что на полке в библиотеке стоит книга о папе Иоанне.

— Вы приберегли самую сложную головоломку под конец, — нетерпеливо сказал Пэйн. — Что общего имеет со всем этим папа Иоанн?

— Не забудьте еще книгу про Исландию, — промолвил священник, — и исследование о религии какого-то Фридриха. Остается еще один вопрос: что за человек был покойный лорд Дарнзэуей?

— Неужели это так важно?

— Он, видимо, был человек образованный, с известным юмором, несколько эксцентричный, — невозмутимо продолжал патер Браун. — Как человек образованный, он знал, что никакого папы Иоанна в действительности не существовало. Как человек с чувством юмора он, весьма вероятно, придумал название «Змеи Исландии» или что-нибудь в этом роде, чего тоже нет на свете. И, наконец, я позволю себе восстановить полностью название третьей книги — «Религия Фридриха Великого», т.е. вещь, также несуществующая, потому что Фридрих Великий был атеистом. Ну-с, разве вы не замечаете, что все три названия как нельзя больше подходят к корешкам несуществующих книг, или — иными словами — к полке, которая, в сущности, совсем не полка...

— А! — воскликнул Пэйн. — Теперь я понимаю! Там была потайная лестница. Она вела...

— В темную комнату, которую сам Вуд наметил для лаборатории, — сказал священник, кивая. — Мне очень жалко, но тут ничем нельзя было помочь. Все было ужасно банально и пошло. Да и я сам оказался банальнейшим тупицей. Но дело в том, что мы дали себя завлечь в эту древнюю, заплесневелую романтику вырождающегося дворянства и обреченного родового замка. Мы никак не могли ожидать, что нам удастся выбраться на свет божий через потайной ход.

VIII

Дух Гидеона Уайза

Патер Браун всегда рассматривал тот случай как удивительнейшую иллюстрацию к теории алиби — той теории, которая утверждает, что человек не может одновременно находиться в двух местах. Впрочем, некий журналист, ирландец, по имени Джемс Байрн, чуть было не опроверг этого утверждения, ибо на протяжении двадцати минут ему удалось побывать на двух полюсах политической и общественной жизни. Одним из этих двух полюсов был роскошный холл огромного отеля, где встретились три промышленных магната, которые собирались объявить локаут в угольной промышленности и раздумывали, как бы придать этому локауту вид стачки. Вторым полюсом была темная таверна под вывеской бакалейной лавки, где встретились трое людей, которые с величайшей радостью превратили бы этот локаут в стачку, а стачку — в революцию. И репортер Байрн бегал от трех миллионов к трем большевистским вождям и обратно, оставаясь неприкосновенным, как истый глашатай современности или посол великой державы.

Трех железнодорожных королей он нашел в чаще оранжерейных растений, за яркими позоло-

ченными колоннами; золотые клетки свисали с расписного плафона, прячась в коронах пальм; а в клетках кричали на разные голоса птицы всевозможных цветов. Ни одна птица тропических лесов не пела так смело и уверенно, как эти пленники, ни один цветок джунглей не благоухал так сильно, как цветы над головами многочисленных дельцов, оживленно беседовавших в разных углах холла и перебежавших с места на место. А в одном из углов, среди орнаментных ухищрений, на которые никто никогда не глядел, под пенье и крики дорогих заморских птиц, которых никто никогда не слушал, среди кричащих тканей, в лабиринте роскошной архитектуры, три миллионера сидели и говорили о том, что всякий успех зиждется на осторожности, экономии, бдительности и контроле над собой. Один из них, впрочем, говорил меньше, чем двое других; но он ни на секунду не спускал с них своих ярких неподвижных глаз, которые из-за пенсне казались посаженными слишком близко к переносице; в улыбке, кривившей под небольшими черными усиками его губы, было что-то насмешливое. То был пресловутый Джэкоб П. Стейн; он говорил только тогда, когда ему было что сказать. Зато старик Гэллоп из Пенсильвании, огромный, жирный детина, убеленный почтенными сединами, но с лицом кулачного бойца, говорил очень много. Он был в веселом настроении и все время не то подшучивал, не то издевался над третьим миллионером — Гидеоном Уайзом, крепким, сухим, угловатым стариком того типа, который его соотечественники-американцы называют

«грецким орехом». У него была жесткая седая борода, а манерами и платьем он напоминал старого фермера из центральных штатов. Между ним и Гэллопом существовало старое несогласие по вопросу о промышленном объединении и конкуренции. Старик Уайз был неисправимым индивидуалистом. А Гэллоп постоянно пытался уговорить его отказаться от конкуренции и общими силами эксплуатировать природные богатства мира.

— Рано или поздно вам все равно придется прикнуть к нам, старина, — весело говорил Гэллоп в тот момент, когда вошел Байрн. — Мир идет своим путем; мы теперь уже не можем вернуться к единоличной работе на свой страх и риск. Мы должны поддерживать друг друга.

— Если мне позволено будет выразить мое мнение, — вмешался Стейн с обычным его спокойствием, — я замечу, что перед нами возникает еще более неотложная задача, чем взаимная коммерческая поддержка. Я говорю о поддержке политической. В связи с этим вопросом я и пригласил сюда мистера Байрна. Мы должны объединиться на политической арене по той простой причине, что наши смертельные враги уже объединились.

— Ну что ж, против политического объединения я не возражаю, — проворчал Гидеон Уайз.

— Послушайте, — обратился Стейн к журналисту, — я знаю, что вам открыт доступ в разные темные места, и я хочу попросить вас об одном одолжении — совершенно неофициальном. Вы знаете, где встречаются эти люди — в данный момент речь идет только

о двух-трех из них: о Джоне Элиасе, Джеке Хокете и, пожалуй, еще о поэте Хорне.

— Помилуйте, Хорн когда-то был приятелем Гидеона! — игриво воскликнул мистер Гэллоп. — Он, кажется, учился в его воскресной школе.

— В те времена он был христианином, — молвил Гидеон торжественно, — но когда человек начинает водиться с безбожниками, то с ним уже нельзя иметь дело. Я его еще изредка встречаю. В свое время я готов был поддерживать его пропаганду против войны, всеобщей воинской повинности и прочего, но теперь, когда появились эти проклятые большевики...

— Простите, — перебил его Стейн, — дело не терпит отлагательства. Поэтому разрешите мне теперь же изложить его мистеру Байрну. Мистер Байрн, я могу сообщить вам конфиденциально, что у меня есть кое-какие документы, при помощи которых я могу посадить по меньшей мере двоих из этих господ в тюрьму на весьма продолжительный срок за их подпольную работу во время войны. Я не хочу использовать эти документы. Но я хочу, чтобы вы пошли к ним и спокойно, не горячась, сказали им, что я использую эти бумажки — и не далее чем завтра, — если они не изменят коренным образом свои планы.

— Но, послушайте, — ответил Байрн, — то, что вы предлагаете, может быть квалифицировано как пособничество государственной измене и, кроме того, отдает шантажом. Вы не находите, что это довольно опасно?

— Я думаю, для них это еще опасней, — коротко ответил Стейн.

— И так вы им и скажите.

— Ну что ж, пусть будет по-вашему, — сказал Байрн; он встал и вздохнул полушутливо. — Но только если я попаду в какую-нибудь неприятную историю, то предупреждаю вас — я потащу вас за собой.

— Попробуйте, паренек, — сердечно рассмеялся старик Гэллоп.

Местом свидания революционеров была странная, пустая комната, на стенах которой висело несколько диковинных рисунков blanc-noir, в стиле так называемого «пролетарского искусства», в котором не может разобраться ни один пролетарий. Быть может, единственное, что было общего в двух комнатах, где происходили совещания, это то, что и в той, и в другой нарушался закон о запрещении спиртных напитков. Но в отеле перед тремя миллионерами стояли коктейли всех цветов радуги. Хокет же, самый неистовый из всех большевиков, считал единственным подходящим для себя напитком водку. Он был высокий, неуклюжий парень в профиль похожий на собаку, с вытянутыми губами и носом; он носил растрепанные рыжие усы, а его курчавые волосы постоянно стояли дыбом, как бы в вечном припадке гнева. Джон Элиас был смуглый, внимательный человек в очках, с черной, остроколючей бородкой; во многих европейских кафе он приобрел вкус к абсенту. Журналисту сразу же бросилось в глаза удивительное сходство между ним и Джэкобом П. Стейном. Они были так похожи друг на друга лицом и манерами, словно миллионер ушел вслед за Байрном из «Бабилон-Отеля» каким-ни-

будь подземным ходом, ведущим прямо в это логово большевиков.

Третий тоже любил выпить; но то, что он пил, было весьма характерно для него. Перед поэтом Хорном стоял стакан молока, и в данной обстановке это молоко, такое кроткое и невинное, казалось особенно зловещим, словно опаловый его цвет был цветом какого-то страшного напитка, еще более ядовитого, чем мертвенно-зеленый абсент. Но в действительности молоко было таким же невинным, каким выглядело, ибо Генри Хорн пришел в лагерь революции совсем иной дорогой и совсем по иным причинам, чем Джек Хокет и Джон Элиас. Он получил так называемое «хорошее воспитание», ходил в детстве в церковь и на всю жизнь остался трезвенником. У него были светлые волосы и тонкое лицо, которое могло бы походить на лицо Шелли, если бы выразительность его подбородка не была ослаблена чахлой растительностью. Жидкая бородака каким-то образом придавала ему сходство с женщиной; казалось, эти несколько золотых волосков — все, на что он способен.

Когда журналист вошел, Джек по обыкновению разглагольствовал. Хорн совершенно случайно воскликнул в разговоре: «Боже упаси!», и этого было достаточно, чтобы Джек обрушился на него.

— «Боже упаси!» Бог только и знает, что запрещает нам и то, и другое, и третье! Запрещает нам баствовать, запрещает бороться, запрещает убивать проклятых эксплуататоров и кровопийц! Почему он им ничего не запрещает? Почему ваши гнусные попы

никогда не говорят правды об этих тварях? Почему их драгоценный бог...

Элиас тихо, несколько устало вздохнул и сказал:

— Священники, как сказал Маркс, неотделимы от феодальной эпохи экономического развития и потому давно уже не являются реальным фактором в нашей проблеме. Роль, которую некогда играл священник, ныне играет просвещенный капиталист и...

— Да, — прервал его журналист с жесткой иронией незаинтересованного человека, — и сейчас вы увидите, что он играет ее совсем не плохо. — И, не сводя глаз с Элиаса, он рассказал ему об угрозе Стейна.

— Чего-нибудь в этом роде я и ожидал, — сказал Элиас, улыбаясь и не двигаясь с места. — Я был подготовлен к этому.

— Грязные псы! — взревел Джек. — Если что-либо подобное осмелится сказать бедняк, то его упрячут в тюрьму!.. Но я думаю, что они скоро попадут в гораздо худшее место! Если они в самом ближайшем времени не очутятся в аду, то уж я не знаю, где этот ад находится!

Хорн сделал протестующее движение. Казалось, он протестовал не против сказанного Джеком, а против того, что тот намеревался сказать. Элиас холодно и сдержанно перебил Хокета.

— Мы не намерены отвечать угрозами на угрозы, — сказал он, пристально глядя на Байрна сквозь очки. — Достаточно того, что их угрозы абсолютно не страшны нам. Мы тоже успели подготовиться, и кое-кто из нас не высунет носа на улицу до тех пор,

покуда не начнется открытая борьба. Немедленный разрыв и начало военных действий вполне соответствуют нашим планам.

Пока он говорил эти спокойные, полные достоинства слова, журналист взгляделся в его неподвижное желтое лицо, и мороз пробежал у него по коже. Лицо Хокета казалось страшным, особенно в профиль; но, пристально всмотревшись в его пылающие гневом глаза, можно было найти в них выражение какой-то робости: он как бы боялся, что все эти моральные и экономические потрясения будут ему, в конце концов, не по плечу. Хорн, казалось, был еще больше подвержен самоанализу и тревожным переживаниям. Но в этом третьем человеке, говорившем так просто и благоразумно, было что-то жуткое.

Выйдя из комнаты, Байрн увидел в конце длинного узкого коридора, который вел в бакалейную лавку, какую-то странную, но странно знакомую ему фигуру — низенького, кругленького человечка с круглой головой и в широкополой шляпе.

— Патер Браун! — удивленно воскликнул журналист. — Вы, вероятно, ошиблись дверью. Неужели вы тоже член тайной организации?

— Тайная организация, к которой я принадлежу, гораздо более древняя, — улыбнулся патер Браун, — и гораздо более распространенная.

— Но, помилуйте, — ответил Байрн, — кому из этих трех людей могут понадобиться ваши услуги?

— Трудно сказать, — все также спокойно промолвил священник, — однако мне кажется, что од-

ному из них они понадобятся в самом недалеком будущем.

Он исчез в темной дыре коридора, и журналист пошел дальше, чрезвычайно смущенный. Еще более его смутил маленький инцидент, имевший место, когда он вернулся в отель, чтобы доложить своим клиентам-миллионерам об исполнении возложенной на него миссии. В хранину цветов и птичьих клеток, приютившую трех неприветливых старых джентльменов, вела мраморная лестница, уставленная позлащенными нимфами и тритонами. И вниз по ступеням этой лестницы бежал некий стремительный черноволосый молодой человек со вздернутым носом и бутоньеркой в петлице. Прежде чем журналист успел занести ногу на первую ступень, молодой человек схватил его за руку и отвел в сторону.

— Я Поттер, секретарь старика Гидеона, — прошептал он. — Между нами говоря, готовится решительный удар, правда?

— Я пришел к заключению, что циклопы что-то коуют в своей кузнице, — уклончиво ответил Байрн. — Но помните: циклоп хоть и великан, но у него только один глаз. Я думаю, что большевизм...

Пока он говорил, секретарь слушал его с лицом, похожим на лик монгольского истукана; это каменное лицо удивительно не соответствовало его подвижным ногам и вертлявой фигуре. Но когда Байрн произнес слово «большевизм», глаза молодого человека скосились, и он быстро сказал:

— Что общего... Ах да, простите, я ошибся. Так легко спутать кузницу с ледником!

С этими словами удивительный молодой человек исчез, а Байрн стал подниматься по лестнице, чувствуя, что его недоумение все усиливается.

Войдя в холл, он заметил, что к компании, заседавшей в углу, присоединился еще один человек — с лицом, похожим на топор, очень редкими волосами соломенного цвета и моноклем в глазу. Он, как видно, был не то советчиком, не то стряпчим старика Гэллопа. Звали его Нэрс, и вопросы, с которыми он обратился к Байрну, свелись, главным образом, к выяснению количества членов революционной организации. Байрн был мало осведомлен в этой области и поэтому ответил весьма кратко. Вскоре все четыре джентльмена встали, и тот из них, кто меньше всех говорил, счел нужным произнести заключительное слово.

— Спасибо, мистер Байрн, — сказал Стейн, снимая свое пенсне. — Нам остается только констатировать, что все готово. И в этом я вполне согласен с мистером Элиасом. Завтра в полдень полиция арестует мистера Элиаса на основании документов, которые я ей предъявлю. Не позднее вечера все трое будут в тюрьме. Как вам известно, я пытался предотвратить подобный исход. Я полагаю, это все, джентльмены.

Однако мистеру Джэкобу П. Стейну не удалось выполнить на следующий день свое намерение. Не сделал он этого потому, что на следующее утро он был мертв. Вся остальная часть программы также не была выполнена в силу некоторых обстоятельств, о которых Байрн прочел в утренней газете. В утренней газете было напечатано гигантскими литерами: «Кошмарное тройное убийство. Три миллионера

убиты в одну ночь». Далее следовали более мелким шрифтом (всего в четыре раза крупнее нормального набора) разные фразы, обильно уснащенные восклицательными знаками. Все трое были убиты в один и тот же час, но в различных, весьма отдаленных друг от друга местах. Стейн — в своей роскошной вилле в центральных штатах, Уайз — в маленьком бунгало на берегу океана, где он наслаждался морским ветром и простой жизнью, а старик Гэллоп — в роще, неподалеку от своей дачи, на другом конце страны. Не было никаких сомнений, что каждой из трех смертей предшествовала яростная борьба. Труп Гэллопа был найден лишь на второй день. Он висел, огромный и страшный, в маленькой роще среди изломанных ветвей, на которые низринулся всей своей тяжестью, как бизон на острия копий. Уайза, очевидно, сбросили со скалы в море, тоже после долгой борьбы, так как песок на месте преступления был взрыт, раскидан, и повсюду виднелись отпечатки его ног. Впрочем, первым предвестником трагедии явились не эти следы, а широкополая соломенная шляпа Уайза, колыхавшаяся вдали на морских волнах и отчетливо различимая с прибрежной скалы. Тело Стейна тоже нашли не сразу. После длительных поисков еле заметный кровавый след привел сыщиков к бане в древнеримском стиле, которую Стейн, имевший склонность к античной архитектуре, воздвиг в саду своей виллы.

Каковы бы ни были сокровенные мысли Байрна, ему пришлось признаться, что прямых улик нет ни против кого. Одного наличия мотивов для убийства

было недостаточно. И, кроме того, он никак не мог себе представить бледнолицего юного пацифиста Генри Хорна в роли грубого, жестокого убийцы. Правда, богохульствующего Джека и язвительного Элиаса он считал способными на все. Полиция и человек, помогавший ей производить дознание (этим человеком оказался не кто иной, как таинственный господин с моноклем, именовавший себя Нэрсом), пришли к тому же заключению, что и журналист. Они уясняли себе, что в данный момент нет никакой возможности предъявить обвинение в убийстве большевистским лидерам. Оправдание их за недоказанностью преступления было бы равносильно величайшему скандалу.

Нэрс решил действовать начистоту и привлечь всех трех к производству дознания. Он пригласил их на частное совещание и предложил им откровенно высказать свое мнение в интересах гуманности. Совещание происходило на ближайшем из трех мест преступлений — в бунгало на берегу моря; и Байрну разрешено было присутствовать на этом курьезном совещании, напоминавшем одновременно и мирную беседу дипломатов, и скрытый инквизиторский допрос. К удивлению Байрна, один из членов необычной компании, собравшейся за круглым столом в бунгало, был толстенький, кругленький патер Браун, причастность которого к этому делу выяснилась лишь значительно позднее. Гораздо понятнее было присутствие молодого Поттера, секретаря покойного. Но не так понятно было его поведение. Он один был хорошо знаком с местнос-

тью и даже до некоторой степени являлся в отношении всех прочих участников совещания хозяином. Однако, он принимал весьма малое участие в беседе и был чрезвычайно скуп на информацию. Его круглое курносое лицо имело вид не столь горестный, сколь пасмурный.

Джек Хокет по обыкновению говорил больше всех. Разумеется, от такого человека, как он, трудно было ожидать, что он проявит такт и будет вести себя так, словно его и его друзей никто не подозревает в причастности к убийству. Юный Хорн весьма деликатно пытался удержать его, когда он начал изрыгать хулу на трех убитых миллионеров. Но Джек в любой момент готов был с одинаковым пылом обрушиться и на друзей, и на врагов. Он облегчил себе душу совершенно нецензурным надгробным словом покойному Гидеону Уайзу. Элиас сидел неподвижно и казался совершенно безразличным; очки скрывали выражение его глаз.

— Совершенно бесполезно, я полагаю, указывать вам, сколь недостойны ваши замечания, — холодно сказал Нэрс. — Быть может, вы лучше поймете меня, если я скажу вам, что они бесстыдны. Фактически вы признаетесь в том, что ненавидели покойного.

— А вы намерены упрятать меня за это в тюрьму? — усмехнулся революционер. — Ну что ж! Вам придется построить тюрьму всего лишь на миллион человек, если вы захотите посадить всех бедняков, которые имели основание ненавидеть Гидеона Уайза. И вы знаете не хуже меня, что я говорю чистой правду!

Нэрс ничего не ответил. Все молчали; наконец Элиас заговорил своим ясным голосом, слегка шепелявя:

— Мне кажется, что подобный спор совершенно бесполезен и бесполезен как для одной, так и для другой стороны. Вы вызвали нас сюда либо для того, чтобы мы рассказали вам все, что мы знаем, либо для того, чтобы подвергнуть нас перекрестному допросу. Если вы верите нам, то мы скажем вам, что мы ничего не знаем. Если вы не верите, то вы должны сказать нам, в чем вы нас обвиняете, либо — если у вас хватит вежливости — держать ваше мнение при себе. Никто из вас не сможет найти ни малейшей улики, указывающей на какую бы то ни было нашу причастность к этому делу. Мы к нему причастны не больше, чем к убийству Юлия Цезаря. Вы не смеете арестовать нас, а верить нам вы не хотите. Какой же смысл в нашем присутствии здесь?

Он встал и спокойно застегнул пальто. Его товарищи последовали его примеру. Все трое направились к выходу. Стоя на пороге, Хорн повернул к оставшимся в комнате свое бледное лицо — лицо фанатика.

— Я только напомню вам, — сказал он, — что я всю войну просидел в тюрьме, в ужаснейших условиях, из-за того, что я отказался проливать человеческую кровь.

С этими словами он вышел, и оставшиеся в комнате мрачно поглядели друг на друга.

— Я едва ли думаю, что мы победили, хоть противник и отступил, — сказал патер Браун.

— Я возмущен только поведением этого бродяги Хокета, — сказал Нэрс. — Хорн все-таки джентльмен. Но, что бы они ни говорили, я твердо уверен: они что-то знают. Они замешаны в этом деле — по крайней мере, двое из них. В сущности они сами в этом признались. Они дразнили нас тем, что мы не можем доказать свою правоту, а не тем, что мы ошибаемся. Ваше мнение, патер Браун?

Священник поглядел на Нэрса удивительно кротко и задумчиво.

— Вы совершенно правы, — молвил он. — Я также уверен, что один из них знает гораздо больше того, что он сказал нам. Но я предпочту до поры до времени не называть его имени.

Нэрс выронил монокль и пронзительно посмотрел на патера Брауна.

— Это невозможно, — сказал он. — Вам, я надеюсь, известно, что закон карает за недоносительство. Вы можете оказаться в весьма скверном положении.

— Мое положение весьма просто, — ответил священник. — Я явился сюда исключительно в целях защиты законных интересов моего друга Хокета. Мне кажется, я не нарушу их, если скажу вам, что он в самом недалеком будущем намерен порвать с тайной организацией и с социализмом. У меня даже есть все основания думать, что он в конце концов примет католичество.

— Хокет? — воскликнул Нэрс недоверчиво. — Да ведь он с утра до вечера проклинает попов!

— Мне кажется, вы недостаточно разбираетесь в подобного рода людях, — мягко сказал патер Браун.

ун. — Но мы собрались здесь не для того, чтобы разбираться в психологии ренегатов. Я упомянул об этом только для того, чтобы облегчить вам поиски.

— Вы правы! Нам теперь гораздо легче будет ухватить за шиворот этого узколицега каналью Элиаса. Не удивлюсь нисколько, если убийцей окажется именно он. В жизни не видал я второго такого хладнокровного, коварного, ухмыляющегося дьявола.

Патер Браун вздохнул.

— Он всегда напоминал мне беднягу Стейна, — сказал он. — По-моему, они были родственники.

— Ну, знаете... — начал Нэрс. Но в это мгновение дверь широко распахнулась, и на пороге появилась длинная, расхлябанная фигура Хорна. Он был бледен, но какой-то новой для него, необычной и неестественной бледностью.

— Алло! — крикнул Нэрс, вскидывая монокль. — Чего ради вы вернулись?

Хорн, шатаясь, прошел в конец комнаты и тяжело опустился в кресло. Потом сказал как бы в столбняке:

— Я потерял остальных... заблудился... Решил, что лучше будет вернуться...

Остатки ужина стояли на столе, и Генри Хорн, всю жизнь бывший трезвенником, налил себе полный стакан бренди и осушил его залпом.

— Вы чем-то взволнованы? — заметил патер Браун.

Хорн поднес руки ко лбу и заговорил, прикрывая ими лицо; он говорил тихо и, казалось, обращался только к священнику:

— Сейчас я вам все расскажу... Я видел приведенье.

— Приведенье? — удивленно воскликнул Нэрс. — Какое приведенье?

— Дух Гидеона Уайза, хозяина этого дома, — несколько более уверенным тоном ответил Хорн. — Он стоял на краю той пропасти, в которую его сбросили.

— Чушь! — сказал Нэрс. — Ни один здравомыслящий человек не верит в привидения.

— Это едва ли верно, — вставил патер Браун, слегка улыбаясь.

— Как хотите, но мое дело — преследовать удирающих преступников, — довольно резко перебил его Нэрс. — А кто хочет, пусть удирает от преследований духов, привидений и прочего. Если кому-нибудь угодно бояться их, то это его дело.

— Я не могу сказать, что боюсь их, хотя, пожалуй, мог бы бояться, — сказал патер Браун. — Пока сам не испытаешь, трудно что-нибудь сказать. Во всяком случае я достаточно верю в привидения, чтобы испытывать желание выслушать повесть мистера Хорна. Так что же вы видели, мистер Хорн?

— Произошло это на берегу. Вы знаете там есть такая расселина — как раз под тем местом, откуда его сбросили. Мои товарищи ушли вперед, а я пробирался по тропинке вдоль скал. Я часто хожу этой дорогой, потому что мне нравится смотреть, как прибой разбивается о скалистый берег. Сегодня вечером меня, помню, удивило, что море такое беспокойное, несмотря на ясную лунную ночь. Я видел, как возникают и исчезают белые пенистые гребни валов, бьющихся в берег. Три раза замечал я мгновенную вспышку пены в лунном сиянье, а потом я увидел

нечто необъяснимое. В четвертый раз серебристая пена как взметнулась к небу, так и осталась стоять неподвижно. Она не падала. Я стоял и напряженно, как безумный, ждал, чтобы она упала. Мне казалось, что я сошел с ума, мне казалось, что время остановилось каким-то непостижимым образом. Наконец я подошел поближе и, кажется, громко закричал, потому что эта застывшая, похожая на хлопья снега, пена как бы слиплась и образовала человеческую фигуру, белую, как призрак проказы из древней легенды, и страшную, как неподвижная молния.

— И вы говорите, это был Гидеон Уайз? — Хорн безмолвно кивнул; воцарилось молчание.

Наконец Нэрс прервал его, вскочив на ноги и нечаянно опрокинув стул.

— Разумеется, все это чушь, — сказал он. — Но все-таки лучше пойти посмотреть.

— Я не пойду, — с внезапной силой сказал Хорн. — Я никогда в жизни больше не пойду по той тропе!

— Мне кажется, что нам всем сегодня ночью придется пройти по этой тропе, — торжественно сказал патер Браун, — хотя я не стану отрицать, что это — опасная тропа... и не только для одного из нас.

— Я не пойду! Господи, как вы терзаете меня! — крикнул Хорн, как-то странно вращая глазами. Он поднялся вместе со всеми, но не двигался с места.

— Мистер Хорн, — твердо сказал Нэрс, — я полицейский агент, и этот дом, — может быть, вам это неизвестно? — оцеплен полицией. Я пытался выяснить обстоятельства дела мирным путем, но моя обязанность — довести следствие до конца. Я принужден

просить вас проводить меня на то место, о котором вы только что говорили.

Опять воцарилось молчание. Хорн тяжело дышал, как бы охваченный неописуемым ужасом. Внезапно он опять опустился в кресло и сказал окрепшим, решительным голосом:

— Не могу! И я вам скажу — почему. Все равно вы рано или поздно узнаете. Я убил его.

На мгновенье воцарилась такая тишина, словно в комнату ударила молния и она была полна трупов. Потом в этой чудовищной тишине прозвучал голос патера Брауна — странный и тонкий, словно писк мыши.

— Вы убили его сознательно? — спросил он.

— Как я могу ответить на такой вопрос? — ответил Хорн, который сидел в кресле и кусал ногти. — Я, вероятно, был безумен. Он вел себя возмутительно! Я забрел в его усадьбу, и он, кажется, ударил меня первый. Завязалась драка, и я сбросил его со скалы. Когда я пришел в себя, я понял, что, совершив это преступление, я вырыл пропасть между собой и остальным человечеством.

Клеймо Каина горело на моем челе. Я впервые понял, что убил человека. И еще я понял, что рано или поздно мне придется сознаться. — Он внезапно выпрямился в кресле. — Но больше я ничего не скажу. Бесплезно спрашивать меня, кто были мои сообщники, существовал ли заговор и прочее. Я ничего не скажу.

— Учитывая, что одновременно были совершены два другие убийства, очень трудно поверить, что со-

ра между Уайзом и вами началась так неожиданно, — сказал Нэрс. — Вас, вероятно, кто-нибудь послал сюда?

— Я не стану предавать моих товарищей, — гордо сказал Хорн. — Я — убийца, но не предатель.

Нэрс подошел к дверям и официальным тоном позвал кого-то.

— Мы пойдем туда, — тихо сказал он секретарю, — и этот человек пойдет с нами под конвоем.

Все чувствовали, что погоня за привидением на морском берегу — довольно глупое занятие после покаяния убийцы. Но Нэрс, несмотря на весь его скептицизм и презрение к подобным вещам, считал своим долгом довести дело до конца, не оставив нетронутым ни одного камешка — или, вернее сказать, ни одного могильного камня, поскольку прибрежная скала была единственным могильным камнем над местом вечного упокоения бедняги Гидеона Уайза. Нэрс последним вышел из дома, запер дверь и последовал за остальными на берег. К его вящему удивлению, он встретил на дороге молодого секретаря Поттера, который бежал обратно; круглое лицо его казалось в лунном свете белым, как луна.

— Ей-богу, сэр (то были его первые слова за весь вечер), — там что-то есть... что-то вроде него...

— Вы сошли с ума! — прохрипел сыщик. — Вы все сошли с ума!

— Неужели вы думаете, что я не узнал бы его? — воскликнул секретарь с какой-то странной горечью. — У меня есть все основания узнать его!

— Возможно также, что у вас есть основания ненавидеть его, как у Хокета, — резко сказал сыщик.

— Возможно, — ответил секретарь. — Так или иначе, я знаю его хорошо. И я вам говорю, я видел его — он стоял там прямой, неподвижный, залитый сатанинским лунным светом.

И он указал в сторону ущелья, где оба они могли разглядеть нечто такое, что могло быть лунным лучом или полосой пены, но уже при ближайшем рассмотрении оказалось чем-то более устойчивым. Они подошли на сотню ярдов ближе, а странное «нечто» все не двигалось; оно походило на серебряную статую.

Нэрс заметно побледнел и остановился, размышляя, как быть. Поттер не старался скрыть своего ужаса; он был напуган не меньше Хорна. И даже Байрн, выдавший виды репортер, никак не решался подойти поближе. В то же время ему показалось странным, что единственный человек, не проявлявший признаков страха, был патер Браун, который только что откровенно признался, что его могло бы испугать приведенье. Священник спокойно шел вперед своей ковыляющей походкой, словно таинственный предмет был доской для объявлений, которые он хотел прочесть.

— Как видно, вы не особенно взволнованы, — сказал ему Байрн. — А ведь вы, кажется, единственный из нас, кто верит в приведенья.

— А вот я думал, что вы в них не верите, — ответил патер Браун. — Но верить в приведенья — это одно, а верить в приведенье — другое.

Байрн смущенно отвернулся и поглядел в сторону берега, залитого холодным лунным светом.

— Я не верил до тех пор, пока не увидел собственными глазами, — сказал он.

— А я верил до тех пор, пока не увидел собственными глазами, — ответил патер Браун и пошел дальше.

Журналист глядел вслед его удалявшейся неуклюжей фигуре. В бесцветном лунном свете трава походила на длинные серые волосы, зачесанные ветром в одну сторону — в ту сторону, где слабо мерцал серо-зеленый прибрежный известняк и где маячил бледный силуэт, тайна которого еще не была разгадана. Этот силуэт как бы доминировал над пустынным пейзажем, в котором не было никаких признаков жизни, кроме черной квадратной и весьма прозаической фигуры священника, шедшего вперед без страха и смущенья. Внезапно Хорн с пронзительным криком вырвался из рук своих стражей, обогнал священника и бросился на колени перед приведеньем.

— Я покаяться! — услышали они его крик. — Зачем вы пришли? Вы пришли сказать им, что я убил вас?

— Я пришел сказать им, что вы не убили меня, — ответило приведенье, простирая к нему руку. И тогда Хорн снова издал дикий вопль, прозвучавший, впрочем, несколько иначе, и вскочил на ноги. И все поняли, что прикоснувшаяся к нему рука была рукой живого человека, а не приведенья.

Положительно это было чудесное спасенье! Ничего подобного не приходилось видеть на своем веку ни многоопытному сыщику, ни еще более опытному

журналисту. А между тем все объяснялось очень просто. От скалы постоянно откалывались, более или менее тонкие пласты разрыхленной земли; эти пласты падали в расщелину, образуя там нечто вроде мягкого настила. Старик (кстати сказать, весьма жилистый и костистый) упал на этот настил и провел там чрезвычайно неприятных двадцать четыре часа, пытаясь вскарабкаться обратно. Уступы скалы все время крошились и обламывались под его ногами, но в конце концов эти самые обломки образовали нечто вроде лестницы, благодаря которой он выбрался из расщелины. Этим объяснялся и зрительный обман Хорна, который принял старика за волну, трижды поднимавшуюся, спадавшую и, наконец, остановившуюся. Так или иначе, перед нашими приятелями стоял Гидеон Уайз, здоровый и невредимый, в белом пыльном костюме, с белыми своими волосами и жестким лицом. Впрочем, лицо его было в данный момент гораздо менее жестко, чем обыкновенно. Быть может, миллионерам полезно изредка проводить сутки на дне пропасти, на расстоянии одного фута от вечности.

Уайз не только отказался от обвинения преступника, но и дал полный отчет об их стычке — отчет, который значительно смягчил вину Хорна. Он заявил, что Хорн вовсе не сбросил его со скалы, но что разрыхленная почва поддалась у него под ногами, причем Хорн даже бросился вперед, чтобы удержать его, когда он падал.

— Там, на дне этой пропасти, — заявил Уайз торжественно, — я обещал Господу всегда прощать

моих врагов. И Господь, пожалуй, сочтет меня подлецом, если я не прощу моему ближнему столь малую вину.

Хорна увели под конвоем, но сыщик не мог скрыть от себя самого, что преступнику недолго придется сидеть в предварительном заключении и что приговор, который ему вынесет суд, будет пустяшным. Не часто убийце удается привести в качестве свидетеля своей невинности убитого им человека!

— Странная история, — сказал Байрн, когда сыщик и прочие исчезли на тропинке, ведущей в город.

— Да, — сказал патер Браун. — Все это не наше дело, но я хотел бы, чтобы вы остались со мной на несколько минут. Поговорим!

Наступило молчание, потом Байрн внезапно сказал:

— Я думаю, вы имели в виду Хорна, когда сказали, что кое-кто говорит не все, что ему известно.

— Нет, — ответил священник, — я имел в виду молчаливого мистера Поттера, секретаря ныне уже не покойного мистера Гидеона Уайза.

— Знаете, когда Поттер в первый раз заговорил со мной, я решил, что он сумасшедший, — сказал Байрн, — но я никогда не думал, что он преступник. Он болтал что-то о леднике...

— Да, я предполагал, что он кое-что знает, — задумчиво промолвил патер Браун. — Но я никогда не говорил, что он причастен к этому делу... Я думаю, старик Уайз достаточно силен, чтобы без посторонней помощи выбраться из пропасти.

— Что вы этим хотите сказать? — спросил удивленный репортер. — Разумеется, он выбрался из пропасты. Ведь мы видели его.

Священник не ответил на вопрос и внезапно спросил:

— Что вы думаете о Хорне?

— Как вам сказать... Его в сущности нельзя назвать преступником, — ответил Байрн. — Он не похож ни на одного преступника, с которым мне приходилось встречаться. Я имею некоторый опыт в этой области, а Нэрс еще опытнее меня. По-моему, мы с Нэрсом никогда не считали его настоящим преступником.

— А я никогда не считал его ни чем иным, — спокойно сказал священник. — Пожалуй, вы знаете больше моего о преступниках. Но есть одна категория людей, которая знакома мне лучше, чем вам или даже Нэрсу. Мне приходилось иметь дело с очень многими представителями этой категории, и я знаю их повадки.

— Другая категория людей? — изумленно переспросил Байрн. — Какая же?

— Кающиеся, — ответил патер Браун.

— Я вас не совсем понимаю, — промолвил Байрн. — Вы хотите сказать, что не верите в его преступление?

— Я не верю в его покаяние, — сказал патер Браун. — Я слышал на своем веку много исповедей, и ни одна из них, если только она была искренна, не была похожа на его исповедь. Его покаяние было романтически; оно было целиком вычитано из книг. Помните, что он говорил о клейме Каина. Это взято из

книг. Ни один человек на свете, совершивший неведомое ему дотоле преступление, не станет так переживать его. Представьте себе, что вы — честный приказчик или конторщик и что вы в первый раз в жизни украли деньги. Неужели вам тут же придет в голову, что вы совершили преступление, достойное Вараввы? Или предположите, что вы в припадке слепого гнева убили ребенка. Станете ли вы совершать исторические экскурсы и отождествлять ваше деяние с деянием иудейского царя, именуемого Иродом? Поверьте мне, наши преступления слишком прозаичны и носят слишком личный характер, чтобы мы, совершив их, стали подыскивать исторические параллели — даже самые подходящие. А почему он вдруг ни с того ни с сего заявил, что он не предаст своих товарищей? Ведь этим самым он уже предал их. Никто не просил его предавать или выдавать кого бы то ни было. Да, я знаю, он был неискренен, и я бы не отпустил ему его грехи. Хорошо бы мы выглядели, если бы нам приходилось отпускать людям грехи, которых они не совершали.

Патер Браун отвернулся и уставился в морскую даль.

— Но я не понимаю, куда вы клоните! — вскричал Байрн. — Какой смысл бродить кругом да около с подозрениями, когда Уайз простил его? Так или иначе, он вылез из этого дела. Он чист!

Патер Браун повернулся со скоростью волчка и в каком-то непомерном и неожиданном волнении ухватил своего собеседника за лацкан пиджака.

— То-то и оно! — воскликнул он возбужденно. — Он чист! Он вылез из этого дела! И потому-то он и есть ключ ко всей загадке!

— Ради бога яснее! — простонал Байрн.

— Да, да, — повторил священник. — Он замешан в этом деле именно потому, что непричастен к нему! Это и есть объяснение!

— Нечего сказать, исчерпывающее объяснение! — возбужденно заметил журналист.

Они несколько секунд молча созерцали ночное море. Потом патер Браун весело сказал:

— И тут мы возвращаемся к леднику. Вы все с самого начала пошли по тому неправильному пути, по которому постоянно идут все газеты и все общественные деятели. Вы а priori решили, что в наше время ни с чем не нужно бороться, кроме большевизма. Все это дело не имеет ничего общего с большевизмом. Большевизм в лучшем случае играет здесь роль ширмы.

— Не понимаю, как это может быть? — воскликнул Байрн. — Три миллионера убиты в одну ночь...

— Нет! — сказал священник звенящим голосом. — Это не так. В этом-то и вся соль! Три миллионера не убиты. Убиты два миллионера. А третий миллионер живехонек. И этот третий миллионер навсегда избавился от угрозы, которая была преподнесена ему в вашем присутствии в самых изысканных выражениях, во время беседы, имевшей, по вашим словам, место в отеле. Гэллоп и Стейн угрожали упрямому ветхозаветному старику, что, если он не войдет с ними в

компанию, они заморозят его. Вот откуда идет «ледник»!

Он подождал несколько секунд. Потом продолжал:

— Несомненно, в наше время и в нашем мире существует сильное большевистское движение. Но никто не замечает, что кроме него есть еще одно движение, не менее современное и не менее действенное. Я говорю о движении в сторону промышленной монополии, я говорю об объединении всей мировой торговли и промышленности в руках трестов. Это тоже революция со всеми следствиями, происходящими из любой революции. Во имя этой идеи будут убивать и умирать, как убивают и умирают во имя большевизма. Этому движению известны поражения и победы, отступления и атаки. Промышленные магнаты имеют, подобно королям, свои придворные штаты. У них есть свои лейб-гвардейцы и свои наемные убийцы. У них есть свои шпионы в неприятельском лагере. Хорн был одним из шпионов старика Гидеона в одном из неприятельских лагерей. Но в этом деле он был использован против другого противника — против конкурентов, травивших Уайза за то, что он не хотел вступить с ними в союз.

— Все-таки я не понимаю, каким образом он был использован, — сказал Байрн, — и какой в этом был смысл.

— Неужели вы не видите, что они дали друг другу алиби? — вскричал патер Браун.

Байрн некоторое время недоуменно смотрел на священника, но мало-помалу его лицо начало проясняться.

— Это самое я и имел в виду, — продолжал патер Браун, — когда я сказал, что они замешаны в этом деле, именно потому что они к нему непричастны. Всякий другой на моем месте сказал бы, что они непричастны к двум другим убийствам, потому что они причастны к этому. А фактически они причастны к тем двум убийствам, потому что они непричастны к этому. Разумеется, это весьма забавный и неправдоподобный вид алиби. И, именно в силу своей неправдоподобности, он неопровержим. Всякий и каждый скажет, что человек, кающийся в совершенном им убийстве, безусловно искренен; и что человек, прощающий своего убийцу, тоже искренен. И никто не подумает о том, что никакого убийства в сущности не было, так что одному нечего было прощать, а другому не в чем было каяться. Оба они доказали, что провели ту ночь здесь. Но дело в том, что они фактически не были здесь в ту ночь. Ибо Хорн в ту ночь убил в лесу старика Гэллопа, а Уайз задушил Стейна в его римской бане. Потому-то я и спросил, достаточно ли Уайз силен, чтобы выбраться из пропасти.

— Ему удалось блестяще выбраться, — сказал Байрн с горечью. — Он выглядел на фоне этого пейзажа чрезвычайно убедительно.

— Слишком убедительно, чтобы убедить меня, — молвил патер Браун, качая головой. — Как живопис-

Дух Гидеона Уайза

на была эта пена, взлетающая к небу и превращающаяся в призрак! Хорн — негодяй и бесстыднейший преступник. Но не забудьте, что он, подобно многим историческим негодяям и преступникам, к тому же еще и поэт.

Содержание

I. Смерть и воскрешение патера Брауна	5
II. Небесная стрела	32
III. Собака-оракул	67
IV. Тайна золотого креста	99
V. Чудо «Полумесяца»	138
VI. Крылатый кинжал	175
VII. Обреченный род	208
VIII. Дух Гидеона Уайза	246

Гилберт Кийт Честертон

ОШИБКА ПАТЕРА БРАУНА

Издатель *Н. Старостина*
Оформление серии *П. Иващук*
Технический редактор *В. Ерофеев*
Верстка *С. Чорныйкий*
Корректор *О. Матвицына*

Подписано в печать 07.08.06. Формат 84×108¹/32.
Тираж 3000 экз. Заказ № 3667.

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93,
том 2; 953000 — книги, брошюры

Гигиеническое заключение
№ 77.99.02.953.Д.006738.10.05 от 18.10.2005 г.

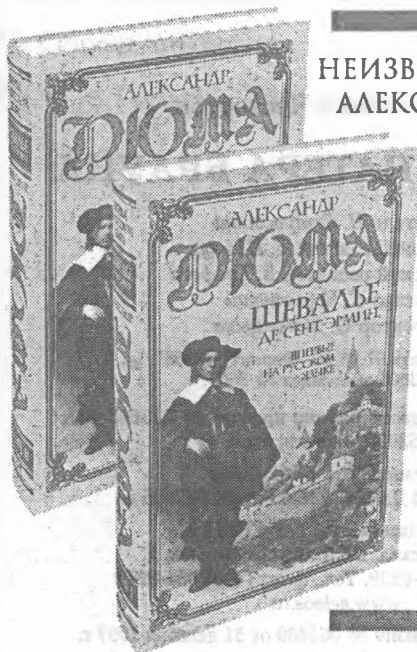
ЗАО «Издательский Дом ГЕЛЕОС»
115093, Москва, Партийный переулок, 1
Тел.: (495) 785-0239. Тел./факс: (495) 951-8972
www.geleos.ru

Издательская лицензия № 065489 от 31 декабря 1997 г.

ЗАО «Читатель»
115093, Москва, Партийный переулок, 1
Тел.: (495) 785-0239. Тел./факс: (495) 951-8972

Отпечатано в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

АЛЕКСАНДР
ДЮМА
ШЕВАЛЬЕ
ДЕ СЕНТ-ЭРМИН



НЕИЗВЕСТНЫЙ РОМАН
АЛЕКСАНДРА ДЮМА!

Автор «Трех мушкетеров» считал его одним из своих лучших творений!

В романе есть все, что мы так любим в книгах великого француза: умело закрученная любовная интрига, ловкие, отважные герои, прекрасные женщины, неожиданные повороты событий, вероломные злодеи, роскошь и величие Франции.

GELEOS ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

Серия исторических романов
«Короли-любовники»

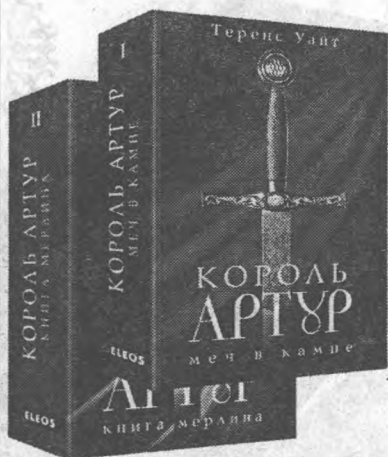
*познакомит вас с тайной жизнью царственных особ.
Страстные, порочные, нежные и романтические и
всегда загадочные любовные интриги.*



Всем
любителям
фэнтези!

ELEOS

Теренс Уайт «Король АРТУР»



Впервые на русском языке полное издание романов о Короле Артуре (в оригинале «Король былого и грядущего») знаменитого английского писателя Теренса Хэнбери Уайта (1906–1964). Наряду с эпопеей Джона Рональда Руэла Толкина **«Властелин Колец»** и трилогией **«Горнелгаст»** Мервина Пика — это одна из самых знаменитых и необычных книг жанра «фэнтези».

Легенда о храбром и мудром Короле Артуре и благородных рыцарях Круглого Стола пережила немало веков. О Короле Артуре писали много и охотно. Однако слава лучшего романиста досталась 33-летнему англичанину Теренсу Хэнбери Уайту. Это он заставил миллионы пламенных сердец вспыхивать жаром, наслаждаясь чтением книг о дворе Короля Артура: тайных дворцовых заговорах и интригах, погонях и схватках на мечах, ядах роковых красавиц, любовных чарах и клятвах на крови.

АРТУР

КОНАН-ДОЙЛА

НЕИЗВЕСТНЫЙ

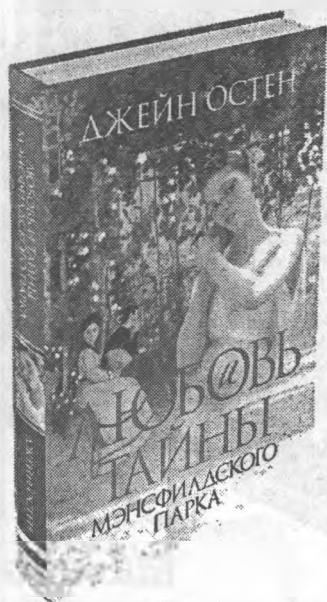
ВПЕРВЫЕ!



G. ELEOS

ЛУЧШИЕ РОМАНЫ ВЕЛИКОГО МАСТЕРА!

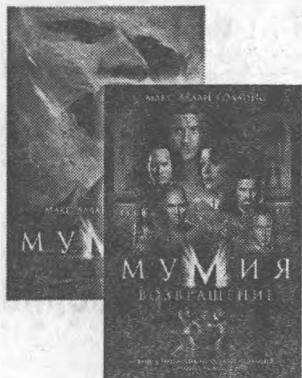
ЛЮБ@ВЬ ТАЙНЫ МЭНСФИЛДСКОГО ПАРКА



Тревоги и надежды, мимолетные увлечения и пылкая страсть, коварное предательство и безграничное женское счастье! Все, что вы ждете от настоящего романа о любви — в книге Джейн Остен «Любовь и тайны Мэнсфилдского Парка»!

Один из самых популярных в мире классических женских романов! Ценители литературы ставят его в один ряд с такими великими произведениями, как «Гордость и предубеждение», «Поющие в терновнике», «Грозовой перевал» и «Унесенные ветром»!

GELEOS



МАКС АЛАН КОЛИНС

МУМИЯ



Головокружительные открытия и леденящие кровь погони, магические ритуалы и кровожадные поклонения культу мертвых, страстные чувства и захватывающие интриги, все, чем так богаты и знамениты фильмы «Мумия» и «Мумия возвращается» теперь и в книгах! Прикоснитесь к истинной истории Древнего Египта. И помните, только знание может спасти от мести богов, только сильный духом способен противостоять потревоженному духу мумии!

GELEOS

Р Б У Р О - Д Е Т Е К Т И В

Вы знаете, что у **Шерлока Холмса**
был гениальный предшественник?
Не знаете? Тогда вам обязательно
надо прочесть романы

Эмиля Габорио!



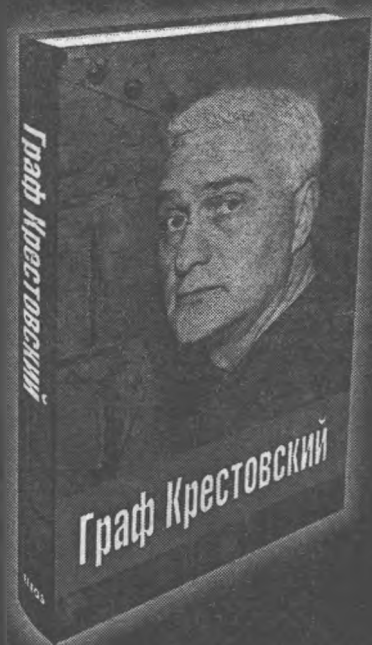
Сыщик **Лекок**,
продукт фантазии
непревзойденного мастера
полицейского детектива, —
настоящий гений сыска!

GELEOS

ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ

У него было все, что нужно для счастья, — верные друзья, красавица-невеста, любимое дело... В двадцать лет он лишился всего, заживо похороненный в тюремной камере. И встал из могилы, неся возмездие.

Вечный сюжет, воплощенный в наши дни. Во времена крушения границ и устоев, когда только любовь дает человеку силы.



ВАН ХЕЛСИНГ

В течение многих столетий охотники на вампиров использовали методы борьбы с кровожадными чудовищами. Многие из них достигли успехов на этом нелегком поприще.

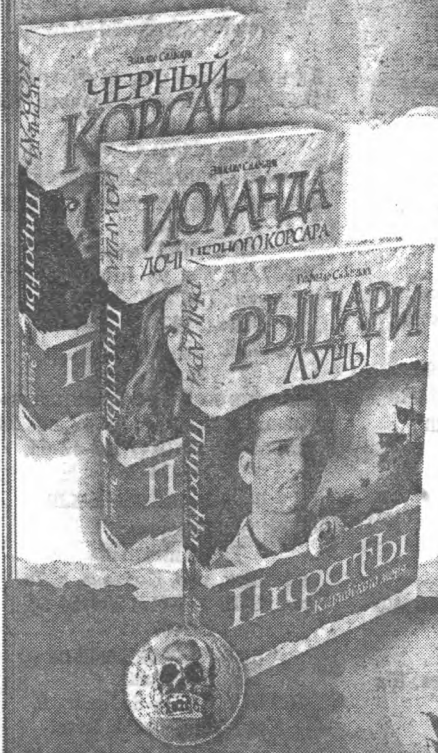
Но самым знаменитым стал Ван Хелсинг, и это неудивительно — ведь ему пришлось столкнуться с самыми страшными представителями племени «кровососущих трупов» — графом Дракулой, чудовищем Франкенштейном и Вервольфом-Оборотнем. Хотите узнать, что из этого вышло, — читайте новую остро сюжетную книгу «Ван Хелсинг»!



GELEOS

Пираты

Карибского моря



Весь мир восхищается отважными пиратами, корабли которых бороздили просторы Карибского моря. Слово чести для «рыцарей луны» столь же важно, как и понятие отваги. Мужская дружба столь же в чести, как и преданная любовь. Дуэли. Похищения. Погони. Схватки. Пираты Карибского моря вновь покоряют мир!

G



**ПО ВОПРОСУ ОПТОВОЙ И МЕЛКООПТОВОЙ ПОКУПКИ КНИГ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ГЕЛЕОС» ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:**

Москва:

ЗАО «Читатель»
(отдел реализации издательства)

115093, г. Москва,
Партийный пер., д. 1
тел.: (495) 785-02-39,
факс (495) 951-89-72
e-mail: zakaz@geleos.ru

Internet: <http://www.geleos.ru>

Воронеж:

ООО «Амиталь»
394021, г. Воронеж,
ул. Прибодова, 7а
тел.: (4732) 26-77-77
e-mail: mail@amital.ru

Казань:

ООО «ГД «Аист-Пресс»
420132, Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. 7-я Калышевская, д.9б,
тел.: (843) 525-55-40, 525-52-14
e-mail: sd@aistdress.com

Краснодар:

ЗАО «Когорта»
350033, г. Краснодар,
ул. Ленина, 101
тел.: (8612) 62-54-97,
факс (8612) 62-20-11
e-mail: kogorta@internet.kuban.ru

Пермь:

ООО «Лира-2»
614036, г. Пермь, ул. Леонова, 10а
тел.: (3422) 26-66-91,
факс (3422) 26-44-10
e-mail: lira2@permonline.ru

Ростов-на-Дону:

**ООО «Сеть книжных магазинов
«Магистр»**
344006, г. Ростов-на-Дону,
пр. 1-й Машиностроительный, 11
тел.: (863) 266-28-74,
факс (863) 263-53-31
e-mail: magistr@aanet.ru
Internet: <http://www.booka.ru>

Санкт-Петербург:

**ООО «Северо-Западное
книготорговое объединение»**
192029, г. Санкт-Петербург,
пр-т Обуховской обороны, д. 84
тел.: (812) 365-46-04, 365-46-03
e-mail: books@szko.sp.ru

Самара:

Книготорговая фирма «Чакона»
443030, г. Самара, ул. Чкалова, 100
тел.: (8462) 42-96-28,
факс (8462) 42-96-29
e-mail: commdir@chaconne.ru
Internet: <http://www.chaconnre.ru>

Уфа:

ООО ПКП «Азия»
450077, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 36
тел.: (3472)50-39-00,
факс (3472) 51-85-44
e-mail: asiaufa@ufanet.ru

Украина:

Книготорговая фирма «Визарди»
г. Киев, ул. Вербовая, д. 17, оф. 31
тел.: 8-10-38 (044) 247-42-65,
247-74-26
e-mail: wizardy@inbox.ru

Беларусь:

ТД «Книжный»
г. Минск, пер. Козлова, д. 7в
тел.: 8-10-375-(17) 294-64-64,
299-07-85
e-mail: td-book@mail.ru

Израиль:

**Р.О.В. 2462, Ha-Sadna st., 6,
Kefar-Sava, 44424, Israel**
тел.: 8-10 (972) 766-88-43, 766-55-24
e-mail: michael@sputnic-books.com

**Книги издательства «Гелеос»
в Европе:**

«Га. Атлант». D-76185 Karlsruhe
тел.: +49(0) 721-183-12-12,
721-183-12-13
факс: +49(0) 721-183 12 14
e-mail: atlant.book@t-online.de
Internet: <http://www.atlant-shop.com>

Г.К.Честертон

Ошибка патера Брауна

Оказывается, сутана священника не мешает расследовать самые запутанные, самые страшные и жестокие преступления. Это с бесспорной убедительностью доказал Гилберт Кит Честертон. Его герой — патер Браун — особенный человек, можно сказать, сыщик от Бога. А значит, он сумеет раскрыть то, что не подвластно уму даже признанных мастеров логики и дедукции.

«...Каждой из трех смертей предшествовала яростная борьба. Труп Гэллопа был найден лишь на второй день. Он висел, огромный и страшный, в маленькой роще среди изломанных ветвей... Уайза, очевидно, сбросили со скалы в море... Тело Стейна тоже нашли не сразу. После длительных поисков еле заметный кровавый след привел сыщиков к бане в древнеримском стиле...»

РЕТРО • ДЕТЕКТИВ

GELEOS

ISBN 5-8189-0741-4



9 785818 907413 >

www.geleos.ru

Design by Gellografic.ru